

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

ПРОЗА

(СБОРНИК)

Марина Цветаева

Проза (сборник)

«Public Domain»

Цветаева М. И.

Проза (сборник) / М. И. Цветаева — «Public Domain»,

«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Содержание

«Прозу люблю почти так же, как и стихи...»	5
Автобиография	6
Октябрь В Вагоне (Записи тех дней)	8
Письмо в тетрадку	9
Кусочек крыма	13
Вольный проезд	16
О любви (Из дневника)	33
Из дневника	41
Расстрел царя	43
Покушение на Ленина	44
Чесотка	45
Fräulein[16]	46
Ночевка в коммуне	47
Воин Христов	50
О благодарности (Из дневника 1919 г.)	51
Отрывки из книги «Земные приметы»	55
Чердачное (Из московских записей 1919/1920 г.)	69
О Германии (Выдержки из дневника 1919 г.)	75
Дом у Старого Пимена	83
I	83
II	88
Башня в плюще	109
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Марина Цветаева Проза

«Прозу люблю почти так же, как и стихи...»

Летом 1893 года Лев Толстой, живой классик русской прозы, всемирно признанный писатель, записал в дневнике: «Форма романа не только не вечна, но она проходит. Совестно писать неправду, что было то, чего не было. Если хочешь что сказать, скажи прямо». В 1909 году на страницу его дневника легла подобная запись, теперь ставшая одной из многих: «Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы: не как статьи, рассуждения и не как художественное, а высказывать выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь».

Марина Цветаева родилась осенью 1892 года, и в 1909 году она лишь входила в литературный мир: дебютный поэтический сборник «Вечерний альбом» был еще впереди... Но Цветаевой было суждено, в ряду многих других достойных талантов, осуществить предсказания Толстого (отмечу, всю прозу которого она назвала – «отличной»), изменить тональность, стиль, всю систему прозаического повествования, открыть его новые возможности и отказаться от многих традиций.

Прямо заявив на склоне судьбы: «Вся моя проза – автобиографическая», Цветаева вовсе не отмечала тем некую ее второстепенность, более того, исходя в своей прозе из непосредственного пережитого, она лишь подтверждала собственный тезис, что и проза – «проработанная в слове жизнь. То есть, как всякое завершение, уже над-жизнь» (письмо к В. А. А., неустановленному адресату, отчего текст этот читается как манифест). Отсюда и ее ранний призыв, прежде всего к самой себе: «Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох!». И далее: «Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце – все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души» (предисловие к сборнику «Из двух книг»).

Написанное Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России, утопающей в большевизме, до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью ее лирического переживания, передает ее жизненное движение, ее жест, взволновано ее вздохами и душевными порывами.

Поэтому проза Цветаевой, при всем ее тематическом разнообразии, сохраняет единство вот этой самой «над-жизни», выстроенной авторской волей, скрепленной энергией слова.

«Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком. Чем же была твоя царственность?... Ужас и любопытство, страсть к познанию и страх его, вот что каждого любящего толкает к прозе поэта. ...сумеешь ли ты и без пурпура быть царем (и без стиха быть поэтом)?»

Такие суждения Марина Цветаева высказала, прочитав автобиографическую книгу Осипа Мандельштама. И это были не сторонние размышления, не риторические вопросы. Поскольку Цветаева сама писала прозу, она стремилась выверить ее по тому же строгому счету, который предъявила высоко ценимому ею поэту.

А теперь, наедине с читателем, она готова по этому счету ответить.

Сергей Дмитриенко

Автобиография

Марина Ивановна Цветаева.

Родилась 26 сентября 1892 г., в Москве. Отец – Иван Владимирович Цветаев – профессор Московского университета, основатель и собиратель Музея изящных искусств (ныне Музея изобразительных искусств), выдающийся филолог. Мать – Мария Александровна Мейн – страстная музыкантша, страстно любит стихи и сама их пишет. Страсть к стихам – от матери, страсть к работе и к природе – от обоих родителей.

Первые языки: немецкий и русский, к семи годам – французский. Материнское чтение вслух и музыка. Ундина, Рустем и Зораб, Царевна в зелени – из самостоятельно прочитанного. Нелло и Патраш. Любимое занятие с четырех лет – чтение, с пяти лет – писание. Все, что любила, – любила до семи лет, и больше не полюбила ничего. Сорока семи лет от роду скажу, что все, что мне суждено было узнать, – узнала до семи лет, а все последующие сорок – осознавала.

Мать – сама лирическая стихия. Я у своей матери старшая дочь, но любимая – не я. Мною она гордится, вторую – любит. Ранняя обида на недостаточность любви.

Детство до десяти лет – старый дом в Трехпрудном переулке (Москва) и одинокая дача Песочная, на Оке, близ города Тарусы Калужской губернии.

Первая школа – музыкальная школа Зограф-Плаксиной в Мерзляковском переулке, куда поступаю самой младшей ученицей, неполных шести лет. Следующая – IV гимназия, куда поступаю в подготовительный класс. Осенью 1902 г. уезжаю с больной матерью на Итальянскую Ривьеру, в городок Nervi, близ Генуи, где впервые знакомлюсь с русскими революционерами и понятием Революции. Пишу Революционные стихи, которые печатают в Женеве. Весной 1902 г. поступаю во французский интернат в Лозанне, где остаюсь полтора года. Пишу французские стихи. Летом 1904 г. еду с матерью в Германию, в Шварцвальд, где осенью поступаю в интернат во Фрейбурге. Пишу немецкие стихи. Самая любимая книга тех времен – «Лихтенштейн» В. Гауфа. Летом 1906 г. возвращаюсь с матерью в Россию. Мать, не доехав до Москвы, умирает на даче Песочная, близ города Тарусы.

Осенью 1906 г. поступаю в интернат московской гимназии Фон-Дервиз. Пишу Революционные стихи. После интерната Фон-Дервиз – интернат Алферовской гимназии, после которого VI и VII класс в гимназии Брюхоненко (приходящей). Лета – за границей, в Париже и в Дрездене. Дружба с поэтом Эллисом и филологом Нилендером. В 1910 г., еще в гимназии, издаю свою первую книгу стихов – «Вечерний Альбом» – стихи 15, 16, 17 лет – и знакомлюсь с поэтом М. Волошиным, написавшим обо мне первую (если не ошибаюсь) большую статью. Летом 1911 г. еду к нему в Коктебель и знакомлюсь там со своим будущим мужем – Сергеем Эфроном, которому 17 лет и с которым уже не расстаюсь. Замуж за него выхожу в 1912 г. В 1912 г. выходит моя вторая книга стихов «Волшебный фонарь» и рождается моя первая дочь – Ариадна. В 1913 г. – смерть отца.

С 1912 по 1922 г. пишу непрерывно, но книг не печатаю. Из периодической прессы печатаюсь несколько раз в журнале «Северные записки».

С начала революции по 1922 г. живу в Москве. В 1920 г. умирает в приюте моя вторая дочь, Ирина, трех лет от роду. В 1922 г. уезжаю за границу, где остаюсь 17 лет, из которых 3 с половиной года в Чехии и 14 лет во Франции. В 1939 г. возвращаюсь в Советский Союз – вслед за семьей и чтобы дать сыну Георгию (родился в 1925 г.) родину.

Из писателей любимые: Сельма Лагерлёф, Зигрид Ундсет, Мэри Вебб.

С 1922 г. по 1928 г. появляются в печати следующие мои книги: в Госиздате «Царь-Девница», «Версты» 1916 г. и сборник «Версты»; в Берлине, в различных издательствах, – поэма «Царь-Девница», книги стихов «Разлука», «Стихи к Блоку», «Ремесло» и «Психея», в которые

далеко не входит все написанное с 1912 по 1922 г. В Праге, в 1924 г., издаю поэму «Молодец», в Париже, в 1928 г., книгу стихов «После России». Больше отдельных книг у меня нет.

В периодической прессе за границей у меня появляются: лирические пьесы, написанные еще в Москве: «Фортуна», «Приключение», «Конец Казановы», «Метель». Поэмы: «Поэма Горы», «Поэма конца», «Лестница», «С Моря», «Попытка комнаты», «Поэма Воздуха», две части трилогии «Тезей»: I ч. «Ариадна», II ч. «Федра», «Новогоднее», «Красный бычок», поэма «Сибирь». Переводы на французский язык: «Le Gars» (перевод моей поэмы «Молодец» размером подлинника) с иллюстрациями Н. Гончаровой, переводы ряда стихотворений Пушкина, переводы русских и немецких революционных, а также и советских песен. Уже по возвращении в Москву перевела ряд стихотворений Лермонтова. Больше моих переводов не издано.

Проза: «Герой труда» (встреча с В. Брюсовым), «Живое о живом» (встреча с М. Волошиным), «Пленный Дух» (встреча с Андреем Белым), «Наталья Гончарова» (жизнь и творчество), повести из детства: «Дом у Старого Пимена», «Мать и Музыка», «Черт» и т.д. Статьи: «Искусство при свете совести», «Лесной царь». Рассказы: «Хлыстовки», «Открытие Музея», «Башня в плюще», «Жених», «Китаец», «Сказка матери» и многое другое. Вся моя проза – автобиографическая.

<<Январь 1940, Голицыно>>

Октябрь В Вагоне (Записи тех дней)

Двое с половиной суток ни куска, ни глотка. (Горло сжато.) Солдаты приносят газеты – на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны, 56-ой полк. Взорваны здания с юнкерами и офицерами, отказавшимися сдать. 16 000 убитых. На следующей станции – уже 25 000. Молчу. Курю. Спутники, один за другим, садятся в обратные поезда.

Сон (2-е ноября 1917 г., в ночь).

Спасаемся. Из подвала человек с винтовкой. Пустой рукой целюсь. – Опускает. – Солнечный день. Влезаем на какие-то обломки. С<<ережа>> говорит о Владивостоке. Едем в экипаже по развалинам. Человек с серной кислотой.

Письмо в тетрадку

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидаться – слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный Край». 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она *не кончилась*. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас – но тут следуют слова, которых я не могу написать.

Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать Вам, как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу, Вы – есть, раз я Вам пишу! А потом – ах! – 56 запасной полк. Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота?) А главное, главное, главное – Вы, Вы сам. Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь – всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака.

Известия неопределенны, не знаю, чему верить. Читаю про Кремль, Тверскую, Арбат, «Метрополь», Вознесенскую площадь, про горы трупов. В с<<оциал>>-р<<еволюционной>> газете «Курская Жизнь» от вчерашнего дня (1-го) – что началось разоружение. Другие (сегодняшние) пишут о бое. Я сейчас не даю себе воли писать, но тысячи раз видела, как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город?

Скоро Орел. Сейчас около 2 часов дня. В Москве будем в 2 часа ночи. А если я войду в дом – и никого нет, ни души? Где мне искать Вас? Может быть, и дома уже нет? У меня все время чувство: это страшный сон. Я все жду, что вот-вот что-то случится, и не было ни газет, ничего. *Что это мне снится, что я проснусь.*

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше.

Трое суток – ни с кем ни звука. Только с солдатами, купить газет. (Страшные розовые листки, зловещие. Театральные афиши смерти. Нет, Москва окрасила! Говорят, нет бумаги. Была, да вся вышла. Кому – так, кому – знак.)

Кто-то, наконец: «Да что с вами, барышня? Вы за всю дорогу куска хлеба не съели, с самой Лозовой с вами еду. Все смотрю и думаю: когда же наша барышня кушать начнут? Думаю, за хлебом, нет – опять в книжку писать. Вы что ж, к экзамену какому?»

Я, смутно: «Да».

Говорящий – мастеровой, черный, глаза, как угли, чернобородый, что-то от ласкового Пугачева. Жутковат и приятен. Беседуем. Жалуеться на сыновей: «Новой жизнью заболели, коростой этой. Вы, барышня, человек молодой, пожалуй и осудите, а по мне — вот все эти отребья красные да свободы похабные – не что иное будет, как сомущение Антихристово. Князь он и власть великую имеет, только ждал до поры до часу, силу копил. Приедешь в деревню, – жизнь-то серая, баба-то сивая. „Черт, шут“... Гляди, кочерыжками закидает. А какой он тебе шут, когда он князь рожденный, свет сотворенный. На него не с кочерыжками надо, а с легионами ангельскими»...

Подсаживается толстый военный: круглое лицо, усы, лет пятьдесят, пошловат, фатоват. – «У меня сын в 56-ом полку! Ужасно беспокоюсь. Вдруг, думаю, нелегкая понесла». (Почему-то сразу успокаиваюсь)... «Впрочем, он у меня не дурак: охота самому в пекло лезть!» (Успокоение мгновенно проходит)... «Он по специальности инженер, а мосты, знаете ли, все равно для кого строить: царю ли, республике ли, – лишь бы выдержали!»

Я, не выдерживая: «А у меня муж в 56-ом». – «Му-уж? Вы замужем? Скажите! Никогда бы не подумал! Я думал барышня, гимназию кончаете. Стало быть, в 56-ом? Вы, верно, тоже очень беспокоитесь?» – «Не знаю, как доеду». – «Доедете! И свидитесь! Да помилуйте, имея такую жену – идти под пули! Ваш супруг себе не враг! Он, верно, тоже очень молод?» – «Двадцать три». – «Ну, видите! А вы еще волнуетесь! Да будь мне двадцать три года и имей я такую жену... Да я и в свои пятьдесят три года и имея вовсе не такую жену»... (Я, мысленно: «в том-то и дело!»: Но почему-то, все-таки, явно сознавая бессмысленность, успокаиваюсь.)

Сговариваемся с мастеровым ехать с вокзала вместе. И хотя нам вовсе не по дороге: ему на Таганку, мне на Поварскую, продолжаю на этом строить: отсрочку следующего получаса. (Через полчаса Москва.) Мастеровой – оплот, и почему-то мне чудится, что он *все знает*, больше – что он сам из князевой рати (недаром Пугачев!) и именно *оттого, что враг* меня (С<<ережу>>) спасет. – Уже спас. – И что нарочно сел в этот вагон – оградить и обнадежить – и Лозовая ни при чем, мог бы просто в окне появиться, на полном ходу, среди степи. И что сейчас в Москве на вокзале рассыпется в прах.

Десять минут до Москвы. Уже чуть-чуть светлеет, – или просто небо? Глаза к темноте привыкли? Боюсь дороги, часа на извозчике, надвигающегося дома (смерти, ибо – если убит, умру). Боюсь услышать.

Москва. Черно. В город можно с пропуском. У меня есть, совсем другой, но все равно. (На обратный проезд в Феодосию: жена прапорщика.) Беру извозчика. Мастеровой, конечно, канул. Еду. Извозчик рассказывает, я отсутствую, мостовая подбрасывает. Три раза подходят люди с фонарями. – Пропуск! – Протягиваю. Отдают не глядя. Первый звон. Около половины шестого. Чуть светлеет. (Или кажется?) Пустые улицы, пустующие. Дороги не узнаю, не знаю (везет объездом), чувство, что все время влево, как иногда мысль, в мозгу. Куда-то *сквозь*, и почему-то пахнет сеном. (А может быть, я думаю, что это – Сенная, и потому – сено?) Заставы чуть громыхают: кто-то не сдастся.

Ни разу – о детях. Если С<<ережи>> нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без С<<ережи>>.

Церковь Бориса и Глеба. Наша, Поварская¹. Сворачиваем в переулок – наш, Борисоглебский. Белый дом Епархиального училища, я его всегда называла «volière»: сквозная галерея и детские голоса. А налево тот, зеленый, старинный, навывтяжку (градоначальник жил и городские стояли). И еще один. И наш.

Крыльцо против двух деревьев. Схожу. Снимаю вещи. Отделившись от ворот, двое в полувоенном. Подходят. «Мы домовая охрана. Что вам угодно?» – «Я такая-то и здесь живу». – «Никого по ночам пускать не велено». – «Тогда позовите, пожалуйста, прислугу. Из третьей квартиры». (Мысль: сейчас, сейчас, сейчас скажут. Они здесь живут и все знают.)

«Мы вам не слуги». – «Я заплачу».

Идут. Жду. Не живу. Ноги, на которых стою, руки, которыми держу чемоданы (так и не спустила). И сердца не слышу. Если б не оклик извозчика, и не поняла бы, что долго, что чудовищно-долго.

– Да что ж, барышня, отпустите или нет? Мне еще на Покровскую надо.

– Прибавлю.

¹ Есть еще на Арбатской площади (примеч. М. Цветаевой).

Тихий ужас, что, вот, уедет: в нем моя последняя жизнь, последняя жизнь *до*... Однако, спустив вещи, раскрываю сумку: три, десять, двенадцать, семнадцать... нужно пятьдесят... Где же возьму, если...

Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откроется входная. Женщина, в платке, незнакомая.

Я, не давая сказать:

– Вы новая прислуга?

– Да.

– Барин убит?

– Жив.

– Ранен?

– Нет.

– То есть как? Где же он был все время?

– А в Александровском, с юнкерами, – уж мы страху натерпелись! Слава Богу, Господь помиловал. Только отощали очень. И сейчас они в N-ском переулке, у знакомых. И детки там, и сестры бариновы... Все здоровы, благополучны, только вас ждут.

– У вас найдется 33 рубля, извозчику доплатить?

– А как же, как же, вот сейчас только вещи внесем.

Вносим вещи, отпускаем извозчика, Дуня берется меня проводить. Захватываю с собой один из двух крымских хлебов. Идем. Битая Поварская. Булыжники. Рывины. Небо чуть светлеет. Колокола.

Заворачиваем в переулок. Семиэтажный дом. Звоню. Двое в шубах и шапках. При чиркающей спичке – блеск пенсне. Спичка прямо в лицо:

– Что вам нужно?

– Я только что из Крыма и хочу к своим.

– Да ведь это неслыханно, в 6 часов утра в дом врваться!

– Я хочу к своим.

– Успеете. Вот заходите к 9-ти часам, тогда посмотрим.

Тут вступает прислуга:

– Да что вы, господа, у них дети маленькие. Бог знает сколько не виделись. И я их очень хорошо знаю, оне личность вполне благонадежная, свой дом на Полянке.

– А все-таки мы вас впустить не можем.

Тут я, не выдерживая:

– А вы – кту?

– Мы домовая охрана.

– А я такая-то, жена своего мужа и мать своих детей. Пустите, я все равно войду.

И, наполовину пропущенная, наполовину прорвавшись – шести площадок как не бывало! – седьмая.

(Так это у меня и осталось, первое видение буржуазии в Революции: уши, прячущиеся в шапках, души, прячущиеся в шубах, головы, прячущиеся в шеях, глаза, прячущиеся в стеклах. Ослепительное – при вспыхивающей спичке – видение *шкур*.)

Снизу голос прислуги: «Счастливо свидеться!»

Стучу. Открывают.

– Сережа спит? Где его комната?

И, через секунду, с порога:

– Сережа! Это я! Только что приехала. У вас внизу – ужасные мерзавцы. А юнкера все-таки победили! Да есть ли Вы здесь или нет?

В комнате темно. И, удостоверившись:

– Ехала три дня. Привезла Вам хлеб. Простите, что черствый. Матросы – ужасные мерзавцы! Познакомилась с Пугачевым. Сереженька, Вы живы – и...

В вечер того же дня уезжаем: С<<ережа>>, его друг Г<<ольц>>ев и я, в Крым.

Кусочек крыма

Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физически жгущая радость Макса В<<олошина>> при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба.

Видение Макса В<<олошина>> на приступочке башни, с Тэном на коленях, жарящего лук. И пока лук жарится, чтение вслух, С<<ереже>> и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России.

– А теперь, Сережа, будет то-то... Запомни.

И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой – всю русскую Революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лица, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь...

С Г<<оль>>цевым за хлебом.

Кофейня в Отузах. На стенах большевицкие воззвания. У столов длиннобородые татары. Как медленно пьют, как скупно говорят, как важно движутся. Для них время остановилось. XVII в. – XX в. И чашечки те же, синие, с каббалистическими знаками, без ручек. Большевизм? Марксизм?

Афиши, все горло прокричите! Какое нам дело до ваших машин, Лениных, Троцких, до ваших пролетариатов новорожденных, до ваших буржуазий разлагающихся... У нас уразб, мулла, виноград, смутная память о какой-то великой царице... Вот эта кипящая смоль на дне золоченых чашечек...

Мы – вне, мы – над, мы давно. Вам – быть, мы – прошли. Мы – раз навсегда. Нас – нету.

Лунные сумерки. Мечеть. Возвращение коз. Девочка в малиновой, до полу, юбке. Кисеты. Старуха, выточенная, как кость. Изваянность древних рас.

В вагоне (обратный путь в Москву, 25-го ноября).

– Брешко-Брешковская – тоже сволочь! Сказала: надо воевать вам!

– Сгубить больше бедного классу и самим опять блаженствовать!

– Бедная матушка-Москва, весь фронт одевает-обувает! Мы Москвой не обижены! Больше все газеты смущают. Большевики правильно говорят, не хотят кровь проливать, смотрят за делом.

В вагонном воздухе – топором – три слова: буржуй, юнкеря, кровососы.

– Чтоб им торговля была лучше!

– У нас молодая революция, а у них, во Франции, старая, лежалая.

– Что крестьянин, что князь – шкура одинакая! (Я, мысленно: шкура-то именно и нет!)

– А офицер, товарищи, первый подлец. Я считаю: он самого низкого образования.

Против меня, на лавке, спит унылый, тощий, благоразумный Викжель.

– Бог, товарищи, первый революционер!

– Вы москвичка, вероятно? У нас на юге таких типов нет!
(Прапорщик из Керчи.)

Спор о табаке.

«Барышня, а курят! Оно, конечно, все люди равны, только все же барышне курить не годится. И голос от того табаку грубеет, и запах изо рта мужской. Барышне конфетки надо сосать, духами прыскаться, чтоб дух нежный шел. А то кавалер с любезностями – прыг, а вы на него тем мужским духом – пых!

Мужеский пол мужского духа теперь не выносит. Как вы полагаете, а, барышня?»

Я: «Конечно, вы правы: привычка дурная!»

Другой солдат: «А я, то есть, товарищи, полагаю: женский пол тут ни при чем. Ведь в глотку тянешь, – а глотка у всех одинакая. Что табак, что хлеб. А кавалеры любить не будут, оно, может, и лучше, мало ли нашего брата зря хвостячит. Лю-бовь! Кобеля, а не любовь! А полюбит кто – за душу, со всяким духом примет, даже сам крутить будет. Правильно говорю, а, барышня?»

Я: «Правильно, – мне муж всегда папиросы крутит. А сам не курит». (Вру.)

Мой защитник – другому: «Так они и не барышни вовсе! Вот, братец, маху дали! А что же у вас муж из студентов, что ль?»

Я, памятуя предостережения: «Нет, вообще так...»

Другой, поясняя: «Своим капиталом, значит, живут».

Мой защитник: «К нему, стало быть, едете?»

Я: «Нет, за детьми, он в Крыму остался».

– «Что ж, дача там своя в Крыму?»

Я, спокойно: «Да, и дом в Москве». (Дачу выдумала.)

– Молчание. —

Мой защитник: «А смелая вы, погляжу, мадамочка! Да разве теперь в эдаких вещах признаются? Да теперь каждый рад не только дом, что ли, деньги – себя собственными руками со страху в землю закопать!»

Я: «Зачем самому? Придет время – другие закопают. А впрочем, это и раньше было: самозакапыватели: сами себя живьем в землю закапывали – для спасения души. А теперь для спасения тела».

– Смеются, смеюсь и я. —

Мой защитник: «А что ж, супруг-то ваш, не с простым народом, чай?»

Я: «Нет, он со *всем* народом».

– «Что-то не пойму».

Я: «Как Христос велел: ни бедного, мол, ни богатого: человеческая и во всех Христос».

Мой защитник, радостно: «То-то и оно! Неповинен ты в княжестве своем и неповинен ты в низости своей»... (с некоторым подозрением:)... «А вы, барышня, не большевичка будете?»

Другой: «Какая большевичка, когда у них дом свой!» Первый: «Ты не скажи, много промеж них образованного классу, – и дворяне тоже, и купцы. В большевики-то все больше господа идут». (Вглядываясь, неуверенно:) «И волосы стриженные».

Я: «Это теперь мода такая»².

Внезапно ввязывается, верней – взрывается – матрос:

«И все это вы, товарищи, неверно рассуждаете, бессознательный элемент. Эти-то образованные, да дворяне, да юнкера проклятые всю Москву кровью залили! Кровососы! Сво-

² Мода пришла позже. Для России с сыпняком, т. е. в 19 г. – 20 г., для Запада, уж не знаю с чего и с чем, в 23 г. – 24 г. (примеч. М. Цветаевой).

лочь!» (Ко мне:) «А вам, товарищ, совет: поменьше о Христах да дачах в Крыму вспоминать. Это время прошло».

Мой защитник, испуганно: «Да они по молодости... Да какие у них дачи, – так, должно, хибарка какая на трех ногах, вроде как у меня в деревне... (Примирияюще:) – Вот и полсапожки плохонькие»...

Об этом матросе. Непрерывная матерщина. Другие (большевик!) молчат. Я, наконец, кротко: «Почему вы так ругаетесь? Неужели вам самому приятно?»

Матрос: «А я, товарищ, не ругаюсь, – это у меня поговорка такая».

Солдаты грохочут.

Я, созерцательно: «Плохая поговорка».

Этот же матрос, у открытого окна в Орле, нежнейшим голосом: «Воздушок какой!»

Аля (4 года).

– Марина, знаешь, у Пушкина не так сказано! У него сказано:

Пушки с пристани палят,
Кораблям пристать велят.

А надо:

Пушки – из *дому* палят!

(После восстания)

Молитва Али во время и с времен восстания:

«Спаси, Господи, и помилуй: Марину, Сережу, Ирину, Любу, Асю, Андрюшу, офицеров и не-офицеров, русских и не-русских, французских и не-французских, раненых и не-раненых, здоровых и не-здоровых, – всех знакомых и не-знакомых».

Москва, октябрь – ноябрь 1917

Вольный проезд

Пречистенка, Институт Кавалерственной Дамы Чертовой, ныне Отдел Изобразительных Искусств.

Клянусь Стиксом, что живи я полтора ста лет назад, я непременно была бы Кавалерственной Дамой! (Нахожусь здесь за пропуском в Тамбовскую губ<<ернию>> «для изучения кустарных вышивок» – за пшеном. Вольный проезд (провоз) в 1 1/2 пуда.)

Дорога на ст<<аницю>> Усмань, Тамбовской губ<<ернии>>.

Посадка в Москве. В последнюю минуту – точно ад разверзся: лязг, визг. Я: «Что это?» Мужик, грубо: «Молчите! Молчите! Видно, еще не ездили!» Баба: «Помилуй нас, Господи!» Страх, как перед опричниками, весь вагон – как гроб. И, действительно, минуту спустя нас всех, несмотря на билеты и разрешения, выбрасывают. Оказывается, вагон понадобился красноармейцам.

В последнюю секунду N, его друг, теща и я, благодаря моей командировке, все-таки попадаем обратно.

Трагически начинаю уяснять себе, что едем мы на реквизиционный пункт и... почти что в роли реквизирующих. У тещи сын – красноармеец в реквизиционном отряде. Сулят всякие блага (до свиного сала включительно). Грозят всякими бедами (до смертоубийства включительно). Мужики озлоблены, бывает, что поджигают вагоны. Теща утешает:

– Уж три раза ездила, – Бог миловал. И белой пуда-ами! А что мужики злобятся – понятное дело... Кто же своему добру враг? Ведь грабят, грабят вчистую! Я и то уж своему Кольке говорю: «Да побойся ты Бога! Ты сам-то, хотя и не из дворянской семьи, а все ж и достаток был, и почтенность. Как же это так – человека по миру пускать? Ну, захватил такую великую власть – ничего не говорю – пользуйся, владей на здоровье! Такая уж твоя звезда счастливая. Потому что, барышня, у каждого своя планида. Ах, Вы и не барышня? Ну, пропало мое дело! Я ведь и сватовством промышляю. Такого бы женишка просватала! А муж-то где? Без вести? И детей двое? Плохо, плохо!

Так я сыну-то: «Бери за полцены, чтоб и тебе не досадно, и ему не обидно. А то что ж это, вроде разбоя на большой дороге. Пра-аво! Оно, барышня, понятно... (что это я все „барышня“, – положение-то ваше хуже вдовьего! Ни мужу не жена, ни другу не княжна!)... оно, барынька, понятно: парень молодой, время малиновое, когда и тешиться, коли не сейчас? Не возьмет он этого в толк, что в лоск собирать – себя разорять! И корову доить – разум надо. Жми да не выжимай. Да-а...

А уж почет-то мне там у него на пункте – ей-Богу, что вдовствующей Императрице какой! Один того несет, другой того гребет. Колька-то мой с начальником отряда хорош, одноклассники, оба из реалки из четвертого классу вышли: Колька – в контору, а тот просто загулял. Товарищи, значит. А вот перемена-то эта сделалась, со дна всплыл, пузырек вверх пошел. И Кольку моего к себе вытребовал. Сахару-то! Сала-то! Яиц! В молоке – только что не купаются! Четвертый раз езжу».

Из вагонных разговоров:

– И будет это так идти, пока не останется: из тысячи – Муж, из тьмы – Жена.

– А есть, товарищи, в Москве церковь – «Великаго Совета Ангел».

Ночной спор о Боге. Ненависть солдат к иконам и любовь к Богу, – «Зачем доску целовать? Коли хочешь молиться, молись один!»

Солдат – офицеру (типа бывшего лицеиста, пробор, картавит): «А Вы, товарищ, какой веры придерживаетесь?»

Из темноты – ответ: «Я спирт социалистической партии».

Станция Усмань. 12-й час ночи.

Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселы, угощают. Мы, чествуемые, все без сапог, – идя со станции чуть не потонули. Для тещи, впрочем, нашлись хозяйкины полусапожки.

Хозяйки: две ехидных перепуганных старухи. Раболепство и ненависть. Одна из них – мне: «Вы что же – ихняя знакомка будете?» (Подмигивая на тещина сына.) Сын: чичиковское лицо, васильковые свинные прорези глаз. Кожу под волосами чувствуешь ярко-розовой. Смесь голландского сыра и ветчины. С матерью нагло-церемонен: «Мамаша»... «Вы» – и: «Ну вас совсем ко всем!»...

Я, слава Богу, незаметна. Теща, представляя, смутно оговорила: «с их родными еще в прежние времена знакомство водила»... (Оказывается, она лет пятнадцать назад шила на жену моего дяди. «Собственная мастерская была... Четырех мастериц держала... Все честь честью... Да вот – муж подкузьмил: умер!») Словом, меня нет, – я: *при...*

Напившись-наевшись, наши два спутника, вместе с другими, уходят спать в вагон. Мы с тещей (тещей она приходится приятелю N, собственно и сбившего меня на эту поездку) – мы с тещей укладываемся на полу: она на хозяйкиных подушках и перинах, я просто.

Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи: «Что такое?» – Второй сапог. – Вскиваю. Полная тьма. Все усиливающийся топот ног, хохот, ругань. Звонкий голос из темноты: «Не беспокойтесь, мамаша, это реквизиционный отряд с обыском пришел!»

Чирканье спички.

Крики, плач, звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки... Рыщут всюду.

– Да за иконами-то хорошенько! За святыми-то! Боги золота тоже любят-то!

– Да мы... Да нешто у нас... Сынок! Отец! Отцом будь!

– Молчать, старая стерва!

Пляшет огарок. Огромные – на стене – тени красноармейцев.

(Оказывается, хозяйки чайной давно были на примете. Сын только ждал приезда матери: нечто вроде маневров флота или парада войск в честь Вдовствующей Императрицы.)

Обыск длится до свету: который раз ни просыпаюсь – все то же. Утром, садясь за чай, трезвая мысль: «А могут отравить. Очень просто. Подсыпят чего-нибудь в чай, и дело с концом. Что им терять? „Царские“ взяты – все потеряно. А расстреляют – все равно помирать!»

И, окончательно убедившись, пью.

В то же утро съезжаем. Мысль эта пришла не мне одной.

Опричники: еврей со слитком золота на шее, еврей – семьянин («если есть Бог, он мне не мешает, если нет – тоже не мешает»), «грузин» с Триумфальной площади, в красной черкеске, за гривенник зарежет мать.

Мои два спутника уехали в бывшее имение кн. Вяземского: пруды, сады... (Знаменитая, по зверскости, расправа.)

Уехали – не взяли. Остаюсь одна с тещей и с собственной душой. Не помогут ни та, ни другая. Первая уже остывает ко мне, вторая (во мне) уже закипает.

С чайником за кипятком на станцию. Двенадцатилетний, одного из реквизирующих офицеров, «адъютант». Круглое лицо, голубые дерзкие глаза, на белых, бараном, кудрях – лихо заломленная фуражка. Смесь амура и хама.

Хозяйка (жена того опричника со слитком) – маленькая (мизгирь!) наичернящая еврейка, «обожаящая» золотые вещи и шелковые материи.

– Это у вас платиновые кольца?

– Нет, серебряные.

– Так зачем же вы носите?

– Люблю.

– А золотых у вас нет?

– Нет, есть, но я вообще не люблю золота: грубо, явно...

– Ах, что вы говорите! Золото, это ведь самый благородный металл. Всякая война, мне Иося говорил, ведется из-за золота.

(Я, мысленно: «Как и всякая революция!»)

– А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами! Наш маленький секрет! (Блудливо хихикает.) – Мы могли бы устроить в некотором роде Austausch³. (Понижая голос): – Ведь у меня хорошенькие запасы... Я Иосе тоже не всегда говорю!.. Если вам нужно свиное сало, например, – можно свиное сало, если совсем белую муку – можно совсем белую муку.

Я, робко:

– Но у меня ничего с собой нет. Две пустых корзинки для пшена... И десять аршин розового ситцу...

Она, почти дерзко:

– А где же вы свои золотые вещи оставили? Разве можно золотые вещи оставлять, а самой уезжать?..

Я, раздельно:

– Я не только золотые вещи оставила, но... *детей!*

Она, рассмешенная:

– Ах! Ах! Ах! Какая вы забавная! Да разве дети, это такой товар? Все теперь своих детей оставляют, пристраивают. Какие же дети, когда кушать нечего? (Сентенциозно): – Для детей есть приюты. Дети, это собственность нашей социалистической Коммуны...

(Я, мысленно: «Как и наши золотые кольца»...)

Убедившись в моей золотой несостоятельности, захлебываясь, рассказывает. Раньше – владелица трикотажной мастерской в «Петрограде».

– Ах, у нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я никогда не позволяла служанке спать в кухне, – это нечистоплотно, могут волосы упасть в кастрюлю. Одна комнатка была спальня, другая столовая, а третья, небесного цвета – приемная. У меня ведь были очень важные заказчицы, я весь лучший Петроград своими жакетками одевала... О, мы очень хорошо зарабатывали, каждое воскресенье принимали гостей: и вино, и лучшие продукты, и цветы... У Иоси был целый курительный прибор: такой столик филигранной работы, кавказский, со всякими трубками, и штучками, и пепельницами,

³ Обмен (нем.).

и спичечницами... По случаю у одного фабриканта купили... И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем не шуточные суммы...

И все это пришлось оставить: обстановку мы распродали, кое-что припрятали... Конечно, Иося прав, народ не может больше томиться в оковах буржуазии, но все-таки, имел такую квартиру...

– Но что же вы здесь делаете, когда дождь, когда все ваши на реквизиции? Читаете?

– Да-а...

– А что вы читаете?

– «Капитал» Маркса, мне муж романов не дает.

С<<танция>> Усмань Тамбовской губ<<ернии>>, где я никогда не была и не буду. Тридцать верст пешком по стриженному полю, чтобы выменять ситец (розовый) на крупу.

Крестьяне.

Шестьдесят изб – одна порубка: «Нет, нет, ничего нету, и продавать – не продаем и менять – не меняем. Что было – то товарищи отобрали. Дай Бог самим живу остаться».

– Да я же не даром беру и не советскими платить буду. У меня спички, мыло, ситец...

Ситец! Магическое слово! Первая (после змея!) страсть праматери Евы! Загорание глаз, прояснение лбов, тяготение рук. Даже прабабки не отстают, брызги беззубых уст: «ситчику бы! на саван!»

И вот я, в удушающем кольце: бабок, прабабок, девок, молодых, подружек, внуков, на коленях перед корзинкой – роюсь. Корзинка крохотная, – я вся налицо.

– А мыло духовитое? А простого не будет? А спички почем? А ситец-то ноский будет? Манька, а Манька, тебе бы на кофту! А сколько аршин говоришь? Де-сять! И восьми-то нету!

Щупанье, нюханье, дерганье, глаженье, того и гляди – на зуб возьмут.

И вдруг, одна прорывается:

– Цвет-то! Цвет-то! Аккурат как Катька на прошлой неделе на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. Ластик – а как шелк! Таковыми сборочками складными... Маманька, а маманька, взять, что ль? Почем, купчиха, за аршин кладешь?

– Я на деньги не продаю.

– Не продае-ешь? Как ж эт так – не продаешь?

– А так, вы же сами знаете, что деньги ничего не стоят.

– Да рази мы знаем? Наша жизнь темная. Вот тоже одна приезжая рассказывала: будто в Москве-то у вас даже очень хорошо идут.

– Поезжайте – увидите.

(Молчание. Косвенные взгляды на ситец. Вздохи.)

– Чего ж тебе надо-то?

– Пшена, сала.

– Са-ала? Нет, сала у нас не будет. Какое у нас сало! Сами все всухомятку жрем. Вот медку не хочешь ли?

(Молниеносное видение себя, залитой протекшим медом, и от этого видения – почти гнев!)

– Нет, я хочу сала – или пшена.

– А почем, коли пшеном, за ситец кладешь-то? (Кстати, вовсе не ситец, а кровный редкостный карточный розовый ластик.)

Я, сразу робея: 1/2 пуда (Учили – три!)

– Пол-пу-уда? Такой и цены нет. Что ж ситец-то у тебя шелковый, что ли? Только и красоты, что цвет. Посмотри, как выстирается, весь водой сойдет.

- Сколько же вы даете?
- Твой товар – твоя цена.
- Я же сказала: полпуда.
- Отлив. Шепота...

Разглядываю избу: все коричневое, точно бронзовое: потолки, полы, лавки, котлы, столы. Ничего лишнего, все вечное. Скамьи точно в стену вросли, вернее – точно из них выросли. А ведь и лица в лад: коричневые! И янтарь нашейный! И сами шеи! И на всей этой коричневизне – последняя синь позднего бабьего лета. (Жестокое слово!)

Шепота затягиваются, терпение натягивается – и лопаются.

Встаю – и, сухо:

- Что ж, берете или не берете?
- Вот, коли деньгами бы – тогда б еще можно. А то сама посуди, какой наш достаток?

Сгребая свой (три куска мыла, пачка спичек, десять аршин сатину), затыкаю палочкой корзинку.

В дверях: «Счастливо!»

Двадцать шагов. Босые ноги вдогон.

– Купчиха, а купчиха?

Не останавливаясь:

– Ну?

– Хочешь семь хвунтов?

– Нет.

И дальше, пропустив от ярости пять изб, – в шестую.

Бывает и по-другому: сговорились, отсыпано, выложено и – в последнюю секунду: «А Бог тебя знает, откуда ты. Еще беды с тобой наживешь! И волоса стриженные... Иди себе подобиру да поздорову... И ситца твоего не нужно»...

А бывает и так еще:

– Ты, вишь, московка, невнятная тебе наша жизнь. Думаешь, нам все даром дается? Да вот это-то пшано, что оно на нас – дождем с неба падает? Поживи в деревне, поработай нашу работу, тогда узнаешь. Вы, москвичи, счастливее, вам все от начальства идет. Ситец-то, чай, тоже даровой?

...Подари-ка нам коробок спиц, чтобы чем тебя, пришлюю, помянуть было.

И даю, конечно. Из высокомерия, из безгливости, так, как Христос не велел давать: прямой дорогой в ад – даю!

За возглас: «курочки ня нясутся!» готова передуть не только всех их кур, но их самих – всех! – до десятого колена. (Другого ответа не слышу.)

Базар. Юбки – поросята – тыквы – петухи. Примиряющая и очаровывающая красота женских лиц. Все черноглазы и все в ожерельях.

Покупаю три деревянных игрушечных бабы, вцепляюсь в какую-то живую бабу, торгую у нее нашейный темный, колесами, янтарь, и ухожу с ней с базару – ни с чем. Дорогой узнаю, что она «на Казанской погуляла с солдатом» – и вот... Ждет, конечно. Как вся Россия, впрочем.

Дома. Возмущение хозяйки янтарем. Мое одиночество. На станцию за кипятком, девки: – «Барышня янтарь надела! Страм-то! Страм!»

Мытье пола у хамки.

– Еще лужу подотрите! Повесьте шляпку! Да вы не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера? А я, знаете, совсем не могу мыть пола, – знаете: поясница болит! Вы наверное с детства привыкли?

Молча глотаю слезы.

Вечером из-под меня выдергивают стул, ем *свои* два яйца без хлеба (на реквизиционном пункте, в Тамбовской губ<<ернии>>!)

Пишу при луне (черная тень от карандаша и руки). Вокруг луны *огромный круг*. Пыхтит паровоз. Ветви. Ветер.

Господа! Все мои друзья в Москве и везде! Вы слишком думаете о своей жизни! У вас нет времени подумать о моей, – а стоило бы.

Теща: бывшая портниха, разудалая речистая замоскворецкая сваха («муж подкузьмил – умер!»). Хам, коммунист с золотым слитком на шее; мещанка – евреечка, бывшая владелица трикотажной мастерской; шайка воров в черкесках; подозрительные угрюмые мужики, *чужой* хлеб (продавать *здесь* на деньги – не хватит и коммунистической совести!)

Всячески пария: для хамки – «бедная» (грошовые чулки, нет бриллиантов), для хама – «буржуйка», для тещи – «бывшие люди», для красноармейцев – гордая стриженная барышня. Роднее всех (на 1000 верст отдаления!) бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастие к янтарю и пестрым юбкам – и одинаковая доброта: как колыбель.

«Господи! Убить того до смерти – у кого есть сахар и сало!» (Местная поговорка.)

«Не было смирнее нашего города!»

(Рассказ мужика по дороге в Усмань. – Не о всей ли России?)

Сегодня опричники для топки сломали телеграфный столб.

Хозяйка за чем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает стопка золота, золотые со звоном раскатываются по комнате. Присутствующие, было – опустив, быстро отводят глаза.

С утра – на разбой. – «Ты, жена, сиди дома, вари кашу, а я к ней маслица привезу!..» – Как в сказке. – Часа в четыре сходятся. У наших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: «И им удобно, и нам с Иосей полезно». «Продукты» – вольные, обеды – платные.) Вина что-то незаметно. Сало, золото, сукно, сукно, сало, золото. Приходят усталые: красные, бледные, потные, злые. Мы с хозяйкой миглом бросаемся накрывать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа – дележ: впечатлениями. (Вещественный дележ производится на месте.) Купцы, попы, деревенские кулаки... У того столько-то холста... У того кадушка топленого... У того царскими тысячу... А иной раз – просто петуха...

Рузман (семьянин) добродушен. Обнаруживая какой-нибудь запретный (запрятанный) плод, вроде куля муки, сам первый сочувствует:

– Ай-ай-ай! И семейство большое! Нельзя же, в самом деле, семь собственных детей, жену, бабушку и дедушку одним чистым воздухом питать!

Есть в нем и ценитель: так, хитро-скрытое и долго-сопротивлявшееся вызывает в нем любованье.

– Такой плут этот Микишкин, такой плут! Ему бы только ликвидацией банков заведовать! И куда он это, вы думаете, он свои николаевские забальзамировал?!

Полегонечку (восьмой день!) вхожу, вживаюсь, уже делю (лирически!) триумфы и беды, уже хозяйка, обеспокоенная долгим отсутствием мужа – мне: «Что же это наш Иося нам изменяет?»

Я по самой середине сказки, mitten drinnen⁴. Разбойник, разбойникова жена – и я, разбойниковой жены – служанка. Конечно, может статься – выхвачу топор... А скорей всего, благополучно растряса свои 18 ф<<унтов>> пшена по 80-ти заградительным отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебскую кухню – и тут же – без отдыши – выдышусь стихом!

Зовут на реквизицию. (Так герцоги, в былые времена, приглашали на охоту!)

– Бросьте вы свои спички!.. (Сколько у вас осталось коробочек? Как – целых три даром отдали? Ах, ах, ах, какая непрактичная!) Едемте с нами, без спичек целый вагон муки привезете. Вам своими руками ничего делать не придется – даю вам честное слово коммуниста: даже самым маленьким пальчиком не пошевелинете!

И хозяйка, ревниво (не ко мне, конечно, а к мыслимым «продуктам»).

– Ах, Иося, разве это возможно! Кто же мне завтра посуду будет мыть, когда я на базар пойду за дрожжами! (Единственный, в этой семье, покупной «продукт».)

Сколько перемытой посуды и уже дважды вымытый пол! Чувство, что я определенно обращена в рабство. Негодная теща, в тон хозяйке, третирует. От моих вероломных Тезеев (хорош – Наксос!) вот уже вторая неделя – ни слуху, ни духу.

У меня пока: 18 ф<<унтов>> пшена, 10 ф<<унтов>> муки, 3 ф<<унта>> свиного сала, янтарь и три куклы для Али. Грозят заградительными отрядами.

Разрываюсь от смеха и гнева. Вечер проходил как всегда. Входили, выходили, пошучивали, покуривали, обдумывали завтрашние набеги, подытоживали нынешние. Словом: мир. И вдруг: гром: Бог! Кто начал – не помню. Помню только свой голос:

– Господа, если его нет – за что же вы его так ненавидите?

– А кто вам сказал, что мы Господа Бога ненавидим?

– Или вы его слишком любите: вы неустанно о нем говорите.

– Говорим, потому, что многие в эти пустяки еще верят.

– Я первая! Дурой родилась, дурой помру.

(Это теща прорвалась.)

Левит, снисходительно:

– Вы, мадам, это вполне объяснимое явление, все наши мамы и папы веровали, но вот (пожатие плечей в мою сторону)... что товарищ в таком молодом возрасте и еще имел возможность пользоваться всеми культурными благами столицы...

Теща:

– Ну что ж, что из столицы? Вы думаете, у нас в Москве все нехристи, что ль? Да у нас в Москве церковей одних сорок сороков, да монастырей, да...

Левит:

– Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники.

Я: – Марксу.

Острый взгляд: – Вот именно.

Я: – И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу.

(Подскок. – Выдерживаю паузу.)

⁴ Изнутри (нем.).

...Как же, – вместе в песок играли: Каннегиссер Леонид.

– Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!

Я, досказывая: – Еврей.

Левит, вскипая: – Ну, это к делу не относится!

Теща, не поняв: – Кого жида убили?

Я: – Урицкого, начальника петербургской Чрезвычайки.

Теща: – И-ишь. А что, он тоже из жидов был?

Я: – Еврей. Из хорошей семьи.

Теща: – Ну, значит свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает, кум обжегся – сват дует, ей-Богу!

Левит, ко мне: – Ну и что же, товарищ, дальше?

Я: – А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обращаясь к хозяину, любезно). –
Ваша однофамилица: Каплан.

Левит, перехватывая ответ Каплана: – И что же вы этим хотите доказать?

Я: – Что евреи, как русские, разные бывают.

Левит, вскакивая: – Я, товарищ, не понимаю: или я не своими ушами слышу, или ваш язык не то произносит. Вы сейчас находитесь на реквизиционном пункте, станция Усмань, у действительного члена Р. К. П., товарища Каплана.

Я: – Под портретом Маркса...

Левит: – И тем не менее вы...

Я: – И тем не менее я. Отчего же не обменяться мнениями?

Кто-то из солдат: – А это правильно товарищ говорит. Какая ж свобода слова, если ты и икнуть по-своему не смеешь! И ничего товарищ особенного не заявляли: только, что жид жида уложил, это мы и без того знаем.

Левит: – Товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбление обратно!

Кузнецов: – Какое такое оскорбление?

Левит: – Вы изволили выразиться про идейную жертву – жид?!

Кузнецов: —Да вы, товарищ, потише, я сам член К<<оммунисти>>ческой партии, а что я жид сказал – у меня привычка такая!

Теща – Левиту: – Да что ж это вы, голубчик, всхорохорились? Подумаешь – «жид». Да у нас вся Москва жидом выражается, – и никакие ваши декреты запретные не помогут! Потому и жид, что Христа распял!

– Хрисс-та-а?!!

Как хлыст полоснул. Как хлыстом полоснул. Как хлыстом полоснули. Вскикивает. Ноздри горбатого носа пляшут.

– Так вы вот каких убеждений, Мадам? Так вы вот за какими продуктами по губерниям ездите! – Это и к вам, товарищ, относится! – Пропаганду вести? Погромы подстраивать? Советскую власть раскачивать? Да я вас!.. Да я вас в одну сотую долю секунды...

– И не испугалась! А сын-то у меня на что ж? Самый что ни на есть большевик, почище вас будет. Ишь – расходился! Вот только змеем шипеть! Пятьдесят лет живу, – такого страма...

Хозяйка: – Мадам! Мадам! Успокойтесь! Товарищ Левит пошутил, товарищ всегда так шутит! Да вы сами посудите...

Сваха, отмахиваясь: – И судить не хочу, и шутить не хочу. Надоела мне ваша новая жизнь! Был Николаша – были у нас хлеб да каша⁵, а теперь за кашей за этой – прости Господи! – как пес язык высуня 30 верст по грязи отмахиваем...

Кто-то из солдат: – Николаша да каша? Эх вы, мамаша!.. А не пора ли нам, ребята, по домам? Завтра чем свет в Ипатьевку надо.

⁵ «Пришли большевики! — Не стало ни хлеба, ни муки», – московская поговорка 18 г. (примеч. М. Цветаевой).

Вернулись N и зять. Привезли муки, веселые. И на мою долю полпуда. Завтра едем. Едем, если сядем.

Стенька Разин. Два Георгия. Лицо круглое, лукавое, веснушчатое: Есенин, но без мелко-сти. Только что, вместе с другими молодцами, вернулся с реквизиции. Вижу его в первый раз.

– Разин! – Не я сказала: сердце вызвонило! (Сердце! Колокол! Только вот звонарей нет!)

Оговорюсь: *мой* Разин (песенный) белокур, – с рыжевцой белокур. (Кстати, глупое упразднение буквы д: белокудр, белые кудри: и буйно и бело. А белокур – что? Белые куры? Какое-то бесхвостое слово!) Пугачев черен, Разин бел. Да и слово само: Степан! Сено, солома, степь. Разве черные Степаны бывают? А: Ра-зин! Заря, разлив, – рази, Разин! Где просторно, там не черно. Чернота – гуща.

Разин – *до* бороды, но уже с тысячей персияночек! И сразу рванулся ко мне, взликовал⁶:

– Из Москвы, товарищ? Как же, как же, Москву знаю! С самых этих семи холмов Москву озирал! Еще махонький был, стих про Москву учил:

Город славный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы...

Москва – всем городам мать. С Москвы все и пошло – царство-то.

Я: – Москвой и кончилось.

Он, сообразив и рассмеявшись: – Это вы верно заметили.

Эх, Москва, Москва, Москва,
Золотая голова,
Запро-па-ща-я!

Пасху аккурат в Москве встречал. Как загудел это Иван-Великий-Колокол – да в ответ-то ему – да кажинная на свой голос-то – да врозь, да в лад, да в лоб, да в тыл – уж и не знаю: чугун ли гудит, во мне ли гудет. Как в уме порешился, – ей-Богу! Никогда мне того не забыть.

Говорим что-то о церквах, о монастырях.

– Вы вот, товарищ, обижаетесь, когда на попов ругаются, монашескую жизнь восхваляете. Я против того ничего не говорю: не можешь с людьми – иди в леса. На миру души не спасешь, сорок сороков чужих загубишь. Только, по совести, разве в попы да в монахи затем идут? За брюхом своим идут, за жизнью сладкой. Вроде как мы, к примеру, на реквизицию, – ей-Богу! А Бог-то при чем? Бога-то, на святость ту глядя, с души воротит. Изничтожил бы он свой мир, кабы мог! Нет, ты мне Богом не заслоняйся! Бог – свет: всю твою черноту пропускает. Ни он от тебя черней, ни ты от него не белей. И не против Бога я, товарищ, восстаю, а против слуг его: рук неверных! Сколько через эти руки от него народу отпало! Да разве у всех рассудок есть? Вот, хотя бы отец мой, к примеру, – как началось это гонение, он сразу рассудил: с больной головы да на здоровую валят. Поп, крысий хвост, нашкодил – Бога вешать ведут. Не ответствен Бог за поповский зоб! И сами, говорит, премного виноваты: попа не чтили, вот он и сам себя чтить перестал. А как его чтить-то? Я, барышня, ихнего брата в точности превзошел. Кто пер-

⁶ Вся встреча, кроме первых нескольких слов, наедине (примеч. М. Цветаевой).

вый вор? – Поп. Обжора? – Поп. Гулена? – Поп. А напьется, – только вот разве барышни вы, объяснить-то вам неприлично...

– Ну а монахи, отшельники?

– А про монахов и говорить нечего, чай, сами знаете. Слова постные, а языком с губ скоромную мысль облизывают. Раскрой ему черепушку: ничего, кроме копченых там да соленых, да девок, да наливок-вишневок не удостоверишь. Вот и вера вся! Монашеское житие! Души спасение!

– А в Библии, помните? Из-за одного праведника Содом спасу? Или не читали?

– Да сам, признаться, не читал, – все больше я в младости голубей гонял, с ребятами озоровал. А вот отец у меня – великий церковник. (Вдохновляясь): Где эту самую Библию ни открой – так тебе десять страниц подряд слепыми глазами и шпарит...

А я вот еще вам хотел, товарищ, про монахов досказать. Монашки, к примеру. Почему на меня каждая монашка глазами завидует?

Я, мысленно: «Да как же на тебя, голубчик, не...»

Он, разгораясь:

– Жметя, мнетя, глаза как колодцы. Да куда ж ты меня этими глазами тянешь-то? Да какая ж ты после этого моленная? Кровь озорная – в монастырь не иди, а моленная – глаза вниз держи!

Я, невольно опуская глаза: «Морализирующий Разин». (Вслух):

– Вы мне лучше про отца расскажите.

– О-тец! Отец у меня – великий человек! Что там – в книжках пишут: Маркс, например, и Грахы-братья. Кто их видел-то? Небось, все иностранцы: имя – язык занозишь, а отчества нету. Три тыщи лет назад – да за семью за синими морями – тридевять земель пройдешь – в тридесатой, – это не хитро великим быть! А может так, выдумки одни? Этот-то (взмах на стенного Маркса)... гривач косматый – вправду был?

Я, не сморгнув: – Выдумали. Сами большевики и выдумали. По дороге из Берлина – знаете? Вымозговали, пиджак надели, бороду – гриву распушили, по всем заборам расклеили.

– А вы, барышня, смелая будете.

– Как и вы.

(Смеется).

...Но вы мне про отца рассказать хотели?

– Отец. Отец мой – околodочный надзиратель царского времени (Я, мысленно: точно за царским временем надзирает!).... Великий, я вам повторю, человек. Так бы за ним ходил с перышком круглые сутки и все бы записывал. Не слова роняет: камни-тяжеловесы! Все: скрижали, да державы, да денницы... Аж мороз по коже, ей-Богу! Раздует себе ночью самоварчик, оденет очки роговые, книжищу свою разворотит – и ну листами бури-ветры подымать! (Понижая голос) ...Все судьбы знает. Все сроки. Все кому что положено, кому что заказано, никого не помилует. И царское крушение предсказал. Даром, что царя-то вровень с Богом чтит. И сейчас говорит: «Хоть режьте, хоть живьем ешьте, а не держаться этой власти боле семи годов. Змей – она, змеиной кожей и свалится»... Книгу пишет: «Слезы России». Восемь тетрадей клеенчатых в мелкую клетку исписал. Никому не показывает, ни мне даже... Только вот знаю: «Слезы». Каждую ночь до петухов сидит.

Два Георгия, спас знамя.

– Что вы чувствовали, когда спасали знамя?

– А ничего не чувствовал! Есть знамя – есть полк, нет знамени – нет полка!

Купил с аукциона дом в Климачах за 400 руб<<лей>>. Грабил банк в Одессе, – «полные карманы золота»! Служил в полку Наследника.

– Выходит он из вагона: худенький, хорошенький, и жалобным таким голоском: «А куда мне сейчас можно будет пойти?» – «Вас автомобиль ждет? Ваше высочество». Многие солдаты плакали.

Говорю ему стихи: «Царю на Пасху», «Кровных коней»...

– Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекаатило! – ...Пойла-стойла... А здорово ж ему бы нагорело за стойла за эти! А я полагаю – не в памяти писано, а? Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер, – вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь! А нельзя ли было бы, барышня, мне этот стих про стойла на память списать?

– Попадетесь.

– Я?! – Рожа из вдохновенной делается грабительской. – Я – да попасться? Нерождён ещё пропад тот, через который я пропасть должен! Нерождён – непроложен! Да у меня, барышня, золотых часов четверо (Руки по карманам!) Хотите – сверяйтесь! И все по разному времени ходят: одни по московскому, другие по питерскому, третьи по рязанскому, а эти вот (ударяя кулаком в грудь) – по разинскому!

– А сказать вам стих про Стеньку Разина? Тот же человек писал. Слушайте.

Ветры спать ушли с золотой зарей,
Ночь подходит – каменною горой.
И с своей княжною...

Говорю, как утопающий, – нет, как рыба, собственным морем захлебнувшаяся (Говорящая рыба... Гм... Впрочем, в сказках бывает).

После тещ, свах, пшен, помойных ведер, наганов, Марксов – этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят! В васильковую синь: сгинь.

Стенька Разин!

Стенька Разин, я не персияночка, во мне нет двуострого коварства: Персии и нелюбящей. Но я и не русская, Разин, я до-русская, до-татарская, – довременная Русь я – тебе навстречу! Соломенный Степан, слушай меня, степь: были кибитки и были кочевья, были костры и были звезды. Кибиточный шатер – хочешь? где сквозь дыру – самая большая звезда.

Но...

– Только вы уж, барышня, покрупней потрудитесь: я руку-то писаную не больно читаю. С ребяческой радостью следит за возникновением букв (пишу, конечно, печатными).

– Дэ... мэ... А вот и ять, – аккуратно церковка с куполом.

– А вы сам деревенский?

– Сло-бодский!

– А теперь я вам, барышня, за труды за ваши, сказ один расскажу – про город подводный. Я еще махоньким был, годочке по восьмом, – отец сказывал.

Будто есть где-то в нашей русской земле озеро, а на дне озера того – город схоронен: с церквами – с башнями, с базарами – с амбарами (Внезапная усмешка). А каланчи пожарной – не надо: кто затонул – тому не гореть! И затонул будто бы тот град по особому случаю. Нашли на нашу землю татары, стали дань собирать: чиста злата крестами, чиста сйребра колоколами, честной крови-плоти дарами. Град за градом, что колос за колосом, клонятся: ключми позвякивают, татарам поддакивают. А один, вишь, князь – непоклонлив был: «Не выдам я своей святыни – пусть лучше кровь моя хлынет, не выдам я своей Помогите – отрубите мне руки и ноги!» Слышит – уж недалеко рать: топотб великие. Созывает он всех звонарей городских,

велит им изо всей силы-мочи напоследок, в кол'кола взыграть: татарам на омерзение, Господу Богу на прославление. Ну – и постарались тут звонарики! Меня вот только, молодца, не было... Как вдарят! Как грянут! Аж вся грудь земная – дрогом пошла!

И построились, с того звону, реки чиста-серебра: чем пуще звонари работают, тем круче те реки бегут. А земля того серебра не принимает, не впитывает. Уж по граду ни пройти – ни проехать, одноэтажные домишки с головой под воду ушли, только князев дворец один держится. А уж тому звону в ответ – другие звоны пошли: рати поганные подступают, кривыми саблями бряцают. Взобрался князь на самую дворцовую вышку – вода по грудь – стоит с непокрытой головой, звон по кудрям серебром текет. Смотрит: под воротами-то тьмы! Да как зыкнет тут не своим голосом:

– Эй вы, звонарики-сударики!

Только чего сказать-то он им хотел – никто не слышал! И городу того боле – никто не видал!

Ворвались татары в ворота – ровень-гладь. Одни струйки маленькие похлипывают...

Так и затонул тот город в собственном звоне.

Стенька Разин, я не Персияночка, но перстенок на память – серебряный —я Вам подарю.

Глядите: двуглавый орел, вздыбивший крылья, проще: царский гривенник в серебряном ободке. Придется ли по руке? Придется. У меня рука не дамская. Но ты, Стенька, не понимаешь рук: формы, ногтей, «породы». Ты понимаешь ладонь (тепло) и пальцы (хватку). Рукопожатие ты поймешь.

Перстенок бери без думы: было десять – девять осталось! А что в ответ? Никогда ничего в ответ.

С безымянного моего – на мизинный твой.

Но не дам я его тебе, как даю: ты – озорь! Будет с тебя «памяти о царском времени». Шатры и костры – при мне.

– А вот у меня еще с собой книжечка о Москве, возьмите тоже. Вы не смотрите, что маленькая, – в ней весь московский звон!

(«Москва», изд<<ание>> Универсальной библиотеки. Летописцы, чужестранцы, писатели и поэты о Москве. Книжка, которую дарю уже четвертый раз. – Сокровищница!)

– Ну а как в Москве буду – навестить можно? Я даже имени-отчества вашего не спросил. Я, мысленно: «Зачем?!» (Вслух): – Дайте книжечку, запишу⁷.

Потом на крыльце провожаю – пока глаз и пока души...

Завтра едем. Едем, если сядем. Грозят заградительными отрядами. Впрочем, Каплан (из уважения к теще) обещает дать знать по путям, что едут свои.

Утреннее посещение N (ночевал в вагоне).

– М<<арина>> И<<вановна>>, сматывайтесь – и айда! Что вы здесь с тещей натворили? Этот, в красной черкеске, в бешенстве! Полночи его работал. Наврал, что вы и с Лениным и с Троцким, что вы им всем очки втирали, что вы тайно командированы, черт знает чего наплел! Да иначе не вывез бы! Контрреволюция, орет, юдофобство, в одной люльке с убийцами Урицкого, орет, качалась! Это теща, говорю, качалась (тещу-то Колька вывезет!). Обе, обе, орет, – одного поля ягодки! Ну потом, когда я и про Троцкого и про Ленина, немножечко осел.

⁷ Больше никогда его не видела (примеч. М. Цветаевой).

А Каплан мне – так уж безо всяких: – «Убирайтесь сегодня же, наши посадят. За завтрашний день не ручаюсь». – Такие дела!

А еще знаете, другое удовольствие: ночью проснулся – разговор. Черт этот – еще с каким-то. Крестьяне поезд взорвать хотят, слежка идет... Три деревни точно... Ну и гнездо, Марина Ивановна! Да ведь это ж – Хитровка! Я волосы на себе рву, что вас здесь с ними одну оставил! Вы же ничего не понимаете: они все будут расстреляны!

Я: – Повешены. У меня даже в книжке записано.

Он: – И не повешены, а расстреляны. Советскими же. Тут ревизии ждут. Левит на Каплана донес, а на Левита – Каплан донес. И вот, кто кого. Такая пойдет разборка! Ведь здесь главный сыпной пункт – понимаете?

– Ни звука. Но ехать, определенно, надо. А тещин сын?

– С нами едет, – мать будто проводить. Не вернется. Ну, М<<арина>> И<<вановна>>, за дело: вещи складывать!

...И, ради Бога, ни одного слова лишнего! Мы уж с Колькой тещу за сумасшедшую выдали. Задаром пропадем!

Сматываюсь. Две корзинки: одна кроткая, круглая, другая квадратная, злостная, с железными углами и железкой сверху. В первую – сало, пшено, кукол (янтарь, как надела, так не сняла), в квадратную – полпуда N и свои 10 ф<<унтов>>. В общем, около 2 п<<удов>>. Беру на вес – вытяну!

Хозяйка, поняв, что уезжаю, льнет; я, поняв, что уезжаю, наглею.

– Все товарищ, товарищ, но есть же у человека все-таки свое собственное имя. Вы, может быть, скажете мне, как вас зовут?

– Циперович, Мальвина Ивановна.

(Из всей троичности уцелел один Иван, но Иван не выдаст!) – Представьте себе, никак не могла ожидать. Очень, очень приятно.

– Это моего гражданского мужа фамилия, он актер во всех московских театрах.

– Ах, и в опере?

– Да, еще бы: *бас*. Первый после Шаляпина (Подумав):

...Но он и тенором может.

– Ах, скажите! Так что, если мы с Иосей в Москву приедем...

– Ах, пожалуйста, – во все театры! В неограниченном количестве! Он и в Кремле поет.

– В Крем...?!

– Да, да, на всех кремлевских раутах. («Интимно»): Потому что, знаете, люди везде люди. Хочется же поразвлечься после трудов. Все эти расправы и расстрелы...

Она: – Ах, разумеется! Кто же обвинит? Человек – не жертва, надо же и для себя... И скажите, много ваш супруг зарабатывает?

Я: – Деньгами – нет, товаром – да. В Кремле ведь склады. В Успенском соборе – шелка, в Архангельском (вдохновляясь): меха и бриллианты...

– А-ах! (Внезапно усумнившись): – Но зачем же вы, товарищ, и в таком виде, в эту некультурную провинцию? И своими ногами 10 коробочек спичек разносите?

Я, пушечным выстрелом в ухо: – Тайная командировка!

(Подскок. Глоток воздуха и, оправившись):

– Так значит вы, маленькая плутовка, так-таки кое-что, а? Маленький запасец, а?

Я, снисходительно:

– Приезжайте в Москву, дело сделаем. Нельзя же здесь, на реквизиционном пункте, где все для других живут...

Она:

– О, вы абсолютно правы! – И рискованно. – А ваш адресок вы мне все-таки на память, а? Мы с Иосей непременно, и в возможно скором времени...

Я, покровительственно:

– Только торопитесь, этот товар не залеживается. У меня не то, чтобы груды, а все-таки...

Она, в горячке:

– И по сходной цене уступите?

Я, царственно – По своей.

(Крохотными цепкими руками хватая мои руки):

– Вы мне, может быть, запишете свой адресок?

Я, диктуя: – Москва, Лобное место, – это площадь такая, где царей казнят – Брутова улица, переулок Троцкого.

– Ах, уже и такой есть?

Я: – Новый, только что пробит. (Стыдливо): Только дом не очень хорош: №13, и квартира – представьте – тоже 13! Некоторые даже опасаются.

Она: – Ах, мы с Иосей выше предрассудков. Скажите, и недалеко от центра?

– В самом Центре: три шага – и Совет.

– Ах, как приятно...

Приход тещи кладет конец нашим приятностям.

Последняя секунда. Прощаемся.

– Если б Иося только знал! Он будет в отчаянии! Он бы собственноручно проводил вас. Подумайте, такое знакомство!

– Встретимся, встретимся.

– И я бы сама, Мальвина Ивановна, с таким большим желанием сопровождала вас до станции, но у нас сегодня обедают приезжие, русские, – надо блины готовить на семь персон. Ах, вы не можете себе представить, как я устала от этих низких интересов.

Произношу слова благодарности, почтительно, с оттенком галантности, жму руку.

– Итак, помните, мой скромный дом, как и я сама и муж, – всегда к вашим услугам. Только непременно известите, чтобы на вокзале встретили.

Она: – О, Иося даст служебную телеграмму.

Теща на воле:

– М<<арина>> И<<вановна>>, что это вы с ней так слюбились? Неужели ж и адрес дали плюгавке этой?

– Как же! Чертова площадь. Бесов переулок, ищи ветра в поле!

(Смеемся.)

Дорога.

Смеется, да не очень. До станции три версты. Квадратная корзинка колотит по ногам, чувство, что руки – по колено. Помощь N отвергаю, – человека из-за мешков не видно! Три-горбый верблюд.

Иду – скриплю. Скрипит и корзинка – правая: гнусное, на каждом шагу, поскрипывание. Около 1 п<<уда>>. Как бы ручка не оторвалась! (О, идиотизм: за мукой – с корзинами! Мука, которая рифмуется только с одним: мешок! В этих корзинках – вся русская интеллигенция!) Нужно думать о чем-нибудь другом. Нужно понять, что все это – сон. Ведь во сне наоборот, значит... Да, но у сна есть свои сюрпризы: ручка может отвалиться... вместе с рукой. Или: в корзине вместо муки может оказаться... нет, похуже песка: полное собрание сочинений Стеклова! И не вправе негодовать: *сон*. (Не оттого ли я так *мало* негодую в Революции?)

– Да подождите же, говорят! Мешок прорвался!

Корзины наземь. Бегу на зов. Посреди дороги, над мешком, как над покойником, сваха. Подымает красное, страшное, как освежеванное лицо.

– Ну булавка-то у вас хоть есть – аглицкая? Сколько я, на вашу тетушку шимши, иголок изломала!

Достаю, даю: мужскую, огромную, надежную. Унимаем, как можем, коварно-струящийся мешок. Теща охает:

– И иголka была с ниткой, нарочно приготовила! Чуюло мое сердце! (Мешку): – Ах ты подлец, подлец неверный! А вот прощаться стала с мерзавкой-то вашей, так, значит, замечтавшись, и вынула. Да лучше бы я ей, мерзавке этой, этой самой иголкой – глаза выколола!

– Завтра, завтра, мамаша! – торопит Колька, – нынче на поезд надо!

Взвалили, пошли.

...Детская книжка есть: «Во сне все возможно», и у Кальдерона еще: «Жизнь есть сон». А у какого-то очаровательного англичанина, не Бердслея, но вроде, такое изречение: «Я ложусь спать исключительно для того, чтобы видеть сны». Это он о снах на заказ, о тех снах, где подсказываешь. Ну, сон, снись! Снись, сон, так: телеграфные столбы – охрана, они сопутствуют. В корзине не мука, а золото (награбила у этих). Несу его *тем*. А под золотом, на самом дне, план расположения всех красных войск. Иду десятый день, уж скоро Дон. Телеграфные столбы сопутствуют. Телеграфные столбы ведут меня к —

Ну, М<<арина>> И<<вановна>>, крепитесь! С полверсты осталось!

А руки у меня, действительно, до колен, особенно правая. Пот льется, щекоча виски. Все боковые волосы смочены. Не утираю: рука, железка корзины, повторный удар по ноге – одно.

Расплетется – конец.

Когда больно – нельзя заново.

Так или иначе – станция.

Станция.

Станция. Серо и волнисто. Земля – как небо на батальных картинах. Издалека пугаюсь, спутника за руку.

– Что?!

Н, с усмешкой: – Люди, Марина Ивановна, ждут посадки.

Подходим ближе: мешочные холмы и волны, в промежутках вздохи, платки, спины. Мужчин почти нет: быт Революции, как всякий, ложится на женщину: тогда – снопами, сейчас мешками (Быт, это мешок: дырявый. И все равно несешь).

Недоверчивые обороты голов в нашу сторону.

– Господа!

– Москву объели, деревню объедать пришли!

– Ишь натаскали добра крестьянского!

Я: – N: – Отойдем!

Он, смеясь: – Что вы, М<<арина>> И<<вановна>>, то ли будет!

Холодею, в сознании: правоты – их и неправоты – своей.

Платформа живая. Ступить – некуда. И все новые подходят: один как другой, одна как другая. Не люди с мешками, – мешки на людях. (Мысленно, с ненавистью: вот он, хлеб!) И как это еще мужики отличают баб? Зипуны, кожухи... Морщины, овчины... Не мужики и не бабы: медведи: *оно*.

- Последние пришли, первые сядут.
- Господа и в рай первые...
- Погляди, сядут, а мы останемся...
- Вторую неделю под небушком ночуем...
- У-у-у...

Посадка.

Поезд. – Одновременно, как из-под земли: двенадцать с винтовками. *Наши!* В последнюю секунду пришли посадить. Сердце падает: Разин!

- Что, товарищ, небось сробели? Ничего! Ся-адем!

Безнадежно, я даже не двигаюсь. Не вагоны – завалы. А навстречу завалам вагонным – ревуще, вопиюще, взывающе и глаголюще – завалы платформенные.

- Ребенка задавили! Ре-бенка! Ре —

Лежачая волна – дыбом. Горизонталь – в стремительную и обезумевшую вертикаль. Лезут. Втаскивают. Вваливают. Вваливаются.

- Я – через всех – Разину:

- Ну? Ну?
- Ус-пеем, барышня! Не волнуйтесь! Вот мы их сейчас!
- Ребята, осади, стрелять будем!

Ответный рев толпы, щелк в воздух, удар в спину, не знаю где, не знаю что, глаза из ям, взлет...

– А это что ж, а? Это что ж за птицы – за синицы? Штыка-ами? Крестьянского добра нагнали да по живому человеку ступа-ать?

- А спусти-ка их, ребята, и дело с концом! Пушай вольным воздухом продышатся!

Поняла, что села и едем. (Все ли? Озирнуться нельзя.) Постепенное осознание: стою, одна нога есть. А другая, «очевидно», тоже есть, но где – не знаю. Потом найду.

- А гроза голосов растет.

– Долго очень думать не приходится. Штык посадил, а мужик высадит! Что ж это, в самом деле, за насмешка, мы этой машины-то, небось, семнадцать ден, как Царства Небесного какого... А эти!..

Утешаюсь только одним: извлечь человека из этой гущи то же самое, что пробку из штофа без штопора: немислимо. Мне быть выброшенной – другим раздаться. А раздаться – разлететься вагону. Точное ощущение предела вместимости: дальше – некуда, и больше нельзя.

Стою, чуть покачиваемая тесным, совместным человеческим дыханием: взад и вперед, как волна. Грудью, боком, плечом, коленом сращенная, в лад дышу. И от этой предельной телесной сплоченности – полное ощущение потери тела. Я, это то, что движется. Тело, в столбняке – оно. Теплушка: вынужденный столбняк.

- Господа-а-а... О-о-о... У-у-у...

Но... нога: ведь нет же! Беспокойство (раздраженное) о ноге покрывает смысл угроз. Нога – раньше... Вот, когда найду ногу... И, о радость: находится! Что-то – где-то болит. Прислушиваюсь. Она, она, голубушка! Где-то далеко, глубоко... Боль оттачивается, уже непереносима, делаю отчаянное усилие...

- Рев: – Это кто ж сапогами в морду лезет?!

Но дуб выкорчеван: рядом со мной, как дымовой столб (ни чулка, ни башмака не видно) – моя насыщенная праведная вторая нога.

- И – внезапный всплеск в памяти: что-то темное ввысь! горит!

Ах, рука на прощание, с моим перстнем! Станции Усмань Тамбовской губ<<ернии>> – последний привет!

Москва, сентябрь. 1918

О любви (Из дневника)

1917 г.

Для полной согласованности душ нужна согласованность дыхания, ибо, что – дыхание, как не ритм души?

Итак, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом.

Благородство сердца – оргбна. Неослабная настороженность. Всегда первое бьет тревогу. Я могла бы сказать: не любовь вызывает во мне сердцебиение, а сердцебиение – любовь.

Сердце: скорее орган, чем орган.

Сердце: лот, лаг, отвес, силомер, реомюр – всё, только не хронометр любви.

«Вы любите двоих, значит, Вы никого не любите!» – Простите, но если я, кроме Н., люблю еще Генриха Гейне, Вы же не скажете, что я того, первого, не люблю. Значит, любить одновременно живого и мертвого – можно. Но представьте себе, что Генрих Гейне ожил и в любую минуту может войти в комнату. Я та же, Генрих Гейне – тот же, вся разница в том, что он *может войти в комнату*.

Итак: любовь к двум лицам, из которых каждое в любую минуту может войти в комнату, – не любовь. Для того, чтобы одновременная моя любовь к двум лицам была любовью, необходимо, чтобы одно из этих лиц родилось на сто лет раньше меня, или вовсе не рождалось (портрет, поэма). – Не всегда выполнимое условие!

И все-таки Изольда, любящая еще кого-нибудь, кроме Тристана, немыслима, и крик Сары (Маргариты Готье) – «О, л'Амур! л'Амур!», относящийся еще к кому-нибудь, кроме ее молодого друга, – смешон.

Я бы предложила другую формулу: женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в ту минуту, когда входит ее возлюбленный, любит только Генриха Гейне.

«Возлюбленный» – театрально, «любовник» – откровенно, «друг» – неопределенно. Нелюбовная страна!

Каждый раз, когда узнаю, что человек меня любит – удивляюсь, не любит – удивляюсь, но больше всего удивляюсь, когда человек ко мне равнодушен.

Старики и старухи.

Бритый стройный старик всегда немножко старинен, всегда немножко маркиз. И его внимание мне более лестно, больше меня волнует, чем любовь любого двадцатилетнего. Выражаясь преувеличенно: здесь чувство, что меня любит целое столетие. Тут и тоска по его двадцати годам, и радость за свои, и возможность быть щедрой – и вся невозможность. Есть такая песенка Беранже:

...Взгляд твой зорек...
Но тебе двенадцать лет,
Мне уж сорок.

Шестнадцать лет и шестьдесят лет совсем не чудовищно, а главное – совсем не смешно. Во всяком случае, менее смешно, чем большинство так называемых «равных» браков. Возможность настоящего пафоса.

А старуха, влюбленная в юношу, в лучшем случае – трогательна. Исключение: актрисы. Старая актриса – мумия розы.

– ...И была промеж них такая игра. Он ей поет – ее аккуратно Марусей звали – «Маруся ты, Маруся, закрой свои глаза», а она на постелю ляжет, простынею себя накроет – как есть покойница.

Он к ней: «Маруся! Ты не умри совсем! Маруся! Ты взаправду не умри!» – Каждый раз до слез доходил. – На одной фабрике работали, ей пятнадцать годочков было, ему шестнадцать... (Рассказ няньки.)

– А у меня муж, милые: бы-ыл!!! Только и человекского, что обличие. Ничего не ел, всёпил. Подушку мою пропил, одеяло с девками прогулял. Всё ему, милые, скушно: и работать скушно, и со мной чай пить скушно. А собой хорош, как демон: волоса кучерявые, брови ровные, глаза синие. .. – Пятый год пропадает!

(Нянька – подругам.)

Первый любовный взгляд – то кратчайшее расстояние между двумя точками, та божественная прямая, которой нет второй.

Из письма:

«Если бы Вы сейчас вошли и сказали: „Я уезжаю надолго, навсегда“, – или: „Мне кажется, я Вас больше не люблю“, – я бы, кажется, не почувствовала ничего нового: каждый раз, когда Вы уезжаете, каждый час, когда Вас нет – Вас нет навсегда и Вы меня не любите».

В моих чувствах, как в детских, нет степеней.

Первая победа женщины над мужчиной – рассказ мужчины о его любви к другой. А окончательная ее победа – рассказ этой другой о своей любви к нему, о его любви к ней. Тайное стало явным, ваша любовь – моя. И пока этого нет, нельзя спать спокойно.

Все нерассказанное – непрерывно. Так, непокаянное убийство, например, – *длится*. То же о любви.

Вы не хотите, чтобы знали, что вы такого-то любите? Тогда говорите о нем: «я его обожаю!» Впрочем, некоторые знают, что это значит.

Рассказ.

– Когда мне было восемнадцать лет, в меня был безумно влюблен один банкир, еврей. Я была замужем, он женат. Толстый такой, но удивительно трогательный. Мы почти никогда не оставались одни, но когда это случалось, он мне говорил только одно слово: «Живите! Живите!» – И никогда не целовал руки. Однажды он устроил вечер, нарочно для меня, назвал прекрасных танцоров – я тогда страшно любила танцевать! Сам он не мог танцевать, потому что был слишком толст. Обыкновенно он на таких вечерах играл в карты. В этот вечер он не играл.

(Рассказчице тридцать шесть лет, пленительна.)

– «Только живите!» Я уронила руки,
Я уронила нб руки жаркий лоб...
Так молодая Буря слушает Бога
Где-нибудь в поле, в какой-нибудь темный час.

И на высокий вал моего дыхания
Властная вдруг – словно с неба ложится длань.
И на уста мои чьи-то уста ложатся.
Так молодую Бурю слушает – Бог.

(Nachhall, отзвук.)

Гостиная – поле, вчерашняя смолянка – Буря, толстый банкир – Бог. Что уцелело? Да вот то одно слово, которое банкир говорил институтке и Бог в первый день – всему: «Живите!»

«Будь» единственное слово любви, человеческой и божеской. Остальное: гостиная, поле, банкир, институтка – частности,
Что же уцелело? – Всё.

Лучше потерять человека *всем собой*, чем удержать его какой-то своей сотой.
Полководец после победы, поэт после поэмы – куда? – к женщине. Страсть – последняя возможность человеку высказаться, как небо – единственная возможность *быть* – буре.
Человек – буря, страсть – небо, ее растворяющее.

О, поэты, поэты! Единственные настоящие любовники женщин!

Желание вглубь: вглубь ночи, вглубь любви. Любовь: провал во времени.

«Во имя свое» любовь через жизнь, «во имя твое» – через смерть.
«Старуха... Что я буду делать со старухой?!» – Восхитительная – в своей откровенности – формула мужского.

«Зачем старухи одеваются? Это бессмысленно! Я бы заказал им всем одинаковый... „юниформ“, а так как они все богаты, я бы создал кассу, из которой бы одевал – и очень хорошо одевал бы! – всех молодых и красивых».

– Не мешай мне писать о тебе стихи!
– Помешай мне писать стихи о себе!
В промежутке – вся любовная гамма поэта.

Третье лицо – всегда отвод. В начале любви – от богатства, в конце любви – от нищеты.

История некоторых встреч. Эквилибристика чувств.

Рассказ юнкера: ...»объясняюсь ей в любви, конечно, напеваю...»

Любовность и материнство почти исключают друг друга. Настоящее материнство – мужественно.

Сколько материнских поцелуев падает на недетские головы – и сколько нематеринских – на детские!

Страстная материнская любовь – не по адресу.

Там, где я должна *думать* (из-за других) о поступке, сочинять его, он всегда нецелен – начат и не кончен – не объяснит не мой. Я точно запомнила А и не помню Б – и сразу, вместо Б – мои блаженные иероглифы!

Разговор:

Я, о романе, который хотела бы написать: «Понимаете, в сыне я люблю отца, в отце – сына... Если Бог пошлет мне веку, я непременно это напишу!»

Он, спокойно: «Если Бог пошлет вам веку, вы непременно это сделаете».

О Песни Песней:

Песнь Песней действует, на меня, как слон: и страшно и смешно.

Песнь Песней написана в стране, где виноград – с булыжник.

Песнь Песней: флора и фауна всех пяти частей света в одной-единственной женщине. (Неоткрытую Америку – включая.)

Лучшее в Песни Песней, это стих Ахматовой:

«А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней».

«Я бы никогда не мог любить танцовщицы, мне бы всегда казалось, что у меня в руках барахтается птица».

Вдова, выходящая замуж. Долго искала формулу для этой отвращающей меня узаконенности. И вдруг – в одной французской книге, очевидно, женской (автора «*Amitié amoureuse*»⁸) – *моя* формула:

«*Le remariage est un adultère posthume*»⁹.

– Вздохнула!

Раньше все, что я любила, называлось – я, теперь – вы. Но оно всё то же.

Жен много, любовниц мало. Настоящая жена от недостатка (любовного), настоящая любовница – от избытка. Люблю не жен и не любовниц – «*amoureuses*».

Как музыкант – меньше музыки! И как любовник – меньше любви!

(NB! «Любовник» и здесь и впредь как средневековое обширное «*amant*». Минувя просторечие, возвращаю ему первичный смысл. Любовник: тот, кто любит, тот, через кого явлена любовь, провод стихии Любви. Может быть, в одной постели, а может быть – за тысячу верст. – Любовь не как «связь», а как стихия.)

«Есть две ревности. Одна (наступательный жест) – от себя, другая (удар в грудь) – в себя. Чем это низко – вонзить в себя нож?»

⁸ «Любовная дружба» (*фр.*).

⁹ Второй брак – это посмертный адюльтер (*фр.*).

(Бальмонт.)

Я должна была бы пить Вас из четвертной, а пью по каплям, от которых кашляю.

Как медленно сходятся с Вами такие-то! Они делают миллиметры там, где я делала – мили!

Зачем змей, когда Ева?

Любовь: зимой от холода, летом от жары, весной от первых листьев, осенью от последних: всегда – от всего.

Ночной разговор.

Павел Антокольский¹⁰: – У Господа был Иуда. А кто же у Дьявола – Иуда?

Я: – Это, конечно, будет женщина. Дьявол ее полюбит, и она захочет вернуть его к Богу, – и вернет.

Антокольский: – А она застрелится. Но я утверждаю, что это будет мужчина.

Я: – Мужчина? Как может мужчина предать Дьявола? У него же нет никакого доступа к Дьяволу, он Дьяволу не нужен, какое дело Дьяволу до мужчины? Дьявол сам мужчина. Дьявол – это вся мужественность. Дьявола можно соблазнить только любовью, то есть женщиной.

Антокольский: – И найдется мужчина, который припишет себе честь этого завоевания.

Я: – И знаете, как это будет? Женщина полюбит Дьявола, а ее полюбит мужчина. Он придет к ней и скажет: – «Ты его любишь, неужели тебе его не жаль? Ведь ему плохо, верни его к Богу». – И она вернет...

Антокольский: – И разлюбит.

Я: – Нет, *она* не разлюбит. *Он* ее разлюбит, потому что теперь у него Бог, она ему больше не нужна. Не разлюбит, но бросится к тому.

Антокольский: – И, смотря в его глаза, увидит, что все те же глаза, и что она сама побеждена – Дьяволом.

Я: – Но был же час, когда Дьявол был побежден, – час, когда он вернулся к Богу.

Антокольский: – И предал его – мужчина.

Я: – Ах, я говорю о любовной драме! Антокольский: – А я говорю об имени, которое останется на скрижалях.

Я: – Женщина – одержимая. Женщина идет по пути вздоха (глубоко дышу). Вот так. И промахнулся Гейне с его «horizontales Handwerk»¹¹! Как раз по вертикали!

Антокольский: – А мужчина хочет – так: (Выброшенная рука. Прыжок.)

Я: – Это не мужчина так, это тигр так. Кстати, если бы вместо «мужчины» было «тигр», я бы, может быть, и любила мужчин. Какое безобразное слово – мужчина! Насколько по-немецки лучше: «Манн», и по-французски: «Homme». Ман, homo... Нет, у всех лучше...

Но дальше. Итак, женщина идет по пути вздоха... Женщина, это вздох. Мужчина, это жест. (Вздох всегда раньше, во время прыжка не дышат.) Мужчина никогда не хочет первый. Если мужчина захотел, женщина уже хочет.

Антокольский: – А что же мы сделаем с трагической любовью? Когда женщина – действительно – не хочет?

Я: – Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом. Ошибся дверью.

¹⁰ Поэт, ученик Студии Вахтангова (примеч. М. Цветаевой).

¹¹ Горизонтальным ремеслом (нем.).

Я, робко: – Антокольский, можно ли назвать то, что мы сейчас делаем – мыслью?

Антокольский, еще более робко: – Это – вселенское дело: то же самое, что сидеть на облаках и править миром.

Я: – Два отношения к миру: любовное, материнское.

Антокольский: – И у нас два: любовное, сыновнее. А отцовского – нет. Что такое отцовство?

Я: – Отцовства, вообще, нет. Есть материнство: – Мария – Мать – большое М.

Антокольский: – А отцовство – большое О, то есть нуль, зеро.

Я, примиряюще – А зато у нас нет дочернего.

Говорим о любви.

Антокольский: – Любить Мадонну – все равно, что застраховаться от кредиторов. (Кредитора – женщины.)

Говорим о Иоанне д'Арк, и Антокольский, внезапным взрывом:

– А королю совсем не нужно царства, он хочет то, что больше царства – Иоанну. А Вам... А ей до него нет никакого дела: – «Нет, ты должен быть королем! Иди на царство!» – как говорят: «Иди в гимназию!»

Насыщенный раствор. Вода *не может* растворить больше.

Таков закон. Вы – насыщенный мною раствор.

Я – не бездонный чан.

Нужно научиться (мне) подходить к любовному настоящему человека, как к его любовному прошлому, то есть – со всей отрешенностью и страстностью творчества.

Соперник всегда – или Бог (молишься!) – или дурак (даже не презираешь).

Предательство уже указывает на любовь. Нельзя предать знакомого.

1918 г.

Суд над адмиралом Щастным. Приговор произнесен. Подсудимого уводят. И, уходя, вполоборота, в толпу: «Вы придете?»

Женское: – Да!

Я не любовная героиня, я никогда не уйду в любовника, всегда – в любовь.

«Вся жизнь делится на три периода: предчувствие любви, действие любви и воспоминание о любви».

Я: – Причем середина длится от 5-ти лет до 75-ти, – да?

Письмо:

«Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью, вхожу, наконец, к Вам в дом, я всем существом в праве на Вас. Можно оспаривать право человека на хлеб (дед не работал, значит – внук не ешь!) – нельзя оспаривать право человека на воздух. Мой воздух с людьми – восторг. Отсюда мое оскорбление.

Вам жарко. Вы раздражены. Вы «измучены», кто-то звонит, Вы лениво подходите: «Ах, это Вы?» И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью, – да восхищайтесь же мной, я так хорош!

Вам нет дела до меня, до моей души, три дня – бездна (не для меня – без Вас, для меня – с собой), одних снов за три ночи – тысяча и один, а я их и днем вижу!

Вы говорите: «Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю». Любовь ко мне входит в Вашу любовь к себе. То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа (тела). Чуть Вам плохо (нелады дома, жара, большевики) – я уже не существую.

Дом – сплошной «нелад», жара – каждое лето, а большевики только начинаются!

Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек радовался».

Тут, дружок, я заснула с карандашом в руке. Видела страшные сны, – летела с нью-йоркских этажей. Просыпаюсь: свет горит. Кошка на моей груди делает верблюда. (Аля, двух лет, говорила: горблюд!)

Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

Не любить – видеть человека таким, каким его осуществили родители.

Разлюбить – видеть вместо него: стол, стул.

Семья... Да, скучно, да, скудно, да, сердце не бьется... Не лучше ли: друг, любовник? Но, поссорившись с братом, я все-таки вправе сказать: «Ты должен мне помочь, потому что ты мой брат... (сын, отец...)» А любовнику этого не скажешь – ни за что – язык отрежешь.

В крови гнездящееся *право интонации*.

Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию – тонко. Где тонко, там и рвется.

Моя душа чудовищно-ревнива: она бы не вынесла меня красавицей.

Говорить о внешности в *моих* случаях – неразумно: дело так явно, и настолько – не в ней! – «Как она Вам нравится внешне?» – А *хочет* ли она внешне нравиться? Да я просто права на это не даю, – на такую оценку!

Я – я: и волосы – я, и мужская рука моя с квадратными пальцами – я, и горбатый нос мой – я. И, точнее: ни волосы не я, ни рука, ни нос: я – я: незримое.

Чтите оболочку, ослепленную дыханием Бога.

И идите: любить – другие тела!

(Если бы я эти записи напечатала, непременно сказали бы: *par dépit*¹²).

Письмо о Лозэне¹³:

«Вы хотите, чтобы я дала Вам краткий отчет о своей последней любви. Говорю „любви“, потому что не знаю, не даю себе труда знать... (Может быть: все, что угодно, – только не любовь! Но – все, что угодно!)

Итак: во-первых – божественно-хорош, во-вторых – божественный голос. Обе сии божественности – на любителя. Но таких любителей много: все мужчины, не любящие женщин, и все женщины, не любящие мужчин.

Он восприимчив, как душевно, так и наочно, это его главная и несомненная сущность. От озноба до восторга – один шаг. Его легко бросает в озноб. Другого такого собеседника и партнера на свете нет. Он знает то, чего Вы не сказали и может быть и не сказали бы... если бы он уже не знал! Чтущий только собственную лень, он не желая заставляет Вас быть таким, каким ему удобно. («Угодно» здесь неуместно. – ему ничего не угодно.)

¹² С досады (*фр.*).

¹³ Героем моей пьесы «Фортуна» (*примеч. М. Цветаевой*).

Добр? Нет. Ласков? Да.

Ибо доброта – чувство первичное, а он живет исключительно вторичным, отраженным. Так, вместо доброты – ласковость, любви – расположение, ненависти – уклонение, восторга – любование, участия – сочувствие. Взамен *присутствия* страсти – *отсутствие* бесстрастия (пристрастности присутствия – бесстрастие отсутствия).

Но во всем вторичном он очень силен: перл, первый смычок.

– А в любви?

Здесь я ничего не знаю. Мой острый слух подсказывает мне, что само слово «любовь» его – как-то – режет. Он вообще боится слов, как вообще – всего явного. Призраки не любят, чтобы их воплощали. Они оставляют эту роскошь за собой».

«Люби меня, как тебе угодно, но проявляй это так, как удобно мне. А мне удобно, чтобы я ничего не *знал*».

Воля в зле? Никакой. Вся прелесть и вся опасность его в глубочайшей невинности. Вы можете умереть, он не справится о вас в течение месяцев. И потом, растерянно: «Ах, как жаль! Если бы я знал, но я был так занят... Я не знал, что так сразу умирают...»

Зная мировое, он, конечно, не знает бытового, а смерть такого-то числа, в таком-то часу – конечно, быт. И чума – быт.

Но есть, у него, взамен всего, чего нет, одно: воображение. Это его сердце, и душа, и ум, и дарование. Корень ясен: восприимчивость. Чужая то, что в нем видите вы, он становится таким.

Так: денди, демон, баловень, архангел с трубой – он все, что вам угодно, только в тысячу раз пуще, чем хотели вы. Игрушка, которая мстит за себя. *Objet de luxe et d'art*¹⁴ – и горе вам, если это *objet de luxe et d'art* станет вашим хлебом насущным!

– Невинность, невинность, невинность!

– Невинность в тщеславии, невинность в себялюбии, невинность в беспамятности, невинность в беспомощности...

Есть, однако, у этого невиннейшего и неуязвимейшего из преступников одно уязвимое место: безумная – только никогда не сойдет с ума! – любовь к няне. На этом раз навсегда исчерпалась вся его человечность.

Итог – ничтожество, как человек, и совершенство, как существо.

Из всех соблазнов его для меня я бы выделила три главных: соблазн слабости, соблазн бесстрастия – и соблазн Чужого.

Москва. 1918 – 1919

¹⁴ Предмет роскоши и искусства (фр.).

Из дневника Грабеж

2 часа ночи. Возвращаюсь от знакомых, где бываю каждый вечер. В ушах еще последние, восхищенно-опасливые возгласы: «Какая смелая! Одна – в такой час! Когда кругом грабеж. И все эти драгоценности!» (Сами же просят сидеть, сами же не оставляют ночевать, сами же не предлагают проводить, – и я выхожу смелая! Так и собака смела, которую люди из сеней выталкивают в стаю волков.)

Итак, третий час ночи. Луна прямо в лицо. Ловлю ее как в зеркало в серебряный щит кольца. Тонкий голосок фонтана, нерусская и многословная жалоба – так младшая жена жалуется в гареме – старшей. Так персияночка жаловалась, сквозь косы и чадры (бусы и чадры, слезы и чадры), зря – никому – на разинском челне. Фонтан: пушкинская урна на Собачьей площадке, – пушкинская потому, что в доме напротив Пушкин читал своего Годунова. Почти – Бахчисарайский фонтан! Подставляю лицо – луне, слух – воде: двойное струенье

Луны, воды
Двойное струенье...

Струенье... строенье... сиренью... стремление... (Какое вялое слово! Пустое. Не чета – стремглав.)

На углу Собачьей и Борисоглебского овеваю платьем двух спящих милиционеров. Сонно поднимают глаза. Не живет тумб, на которых спят. Праздная мысль: «Эх! Чтобы – ограбить!» Девять серебряных колец (десятое обручальное), офицерские часы-браслет, огромная кованая цепь с лорнетом, офицерская сумка через плечо, старинная брошь со львами, два огромных браслета (один курганный, другой китайский), коробка папирос (250! подарок) – и еще немецкая книга. Но милиционеры, не прослышав моего совета, спят. Миновала пекарню Милешина, бабы-ягинскую избу, забор, – вот уже мои два тополя напротив. Дом. Уже заношу ногу через железку ворот (ночью ход со двора) – как из-под навеса крыльца: – Кто идет?

Малый лет восемнадцати, в военном, из-под фуражки – лихой вихор. Рус. Веснушки.

– Оружие есть?

– Какое же оружие у женщин?

– Что это у вас тут?

– Смотрите, пожалуйста.

Вынимаю из сумки и подаю ему, одно за другим: новый любимый портсигар со львами (желтый, английский: *Dieu et mon droit*¹⁵), кошелек, спички.

– А вот еще гребень, ключ... Если вы сомневаетесь, зайдемте к дворнику, я здесь четвертый год живу.

– А документ есть?

Тут, вспоминая напутствия моих осторожных друзей, добросовестно и бессмысленно парирую:

– А у вас документ – есть?

– Вот!

Белая под луной сталь револьвера. («Значит – белый, а я почему-то всегда думала, что черный, *видела* черным. Револьвер – смерть – чернота».)

¹⁵ «Бог и мое право» (*фр.*).

В ту же секунду через мою голову, душа меня и цепляясь за шляпу, летит цепь от лорнета. Только тут я понимаю, в чем дело.

– Опустите револьвер и снимайте обеими руками, вы меня душите.

– А вы не кричите!

– Вы же слышите, как я говорю.

Опускает и, уже не душа, быстро и ловко снимает в два оборота обкрученную цепь. Действие с цепочкой – последнее, «Товарищи!» – это я слышу уже за спиной, заноса ногу через железку ворот.

(Забыла сказать, что за все время (минуту с чем-то) нашей беседы по той стороне переулка ходили взад и вперед какие-то люди.)

Военный оставил мне: все кольца, львиную брошь, самое сумку, оба браслета, часы, книгу, гребень, ключ.

Взял: кошелек с негодным чеком на 1000 рублей), новый чудный портсигар (вот оно, *droit* без *Dieu*!), цепь с лорнетом, папиросы. В общем, если не по-божески – по-братски.

На следующий день в 6 часов вечера, на М<<алой>> Молчановке его убили! (Напали среди света вечера на какого-то прохожего, тот дал себя ограбить и, пропустив, выстрелил в спину.) Он оказался одним из трех сыновей церковного сторожа соседней Ржевской церкви, вернувшихся, по случаю революции, с каторги.

Предлагали идти отбирать вещи. С содроганием отвергла. Как – я, живая (то есть – счастливая, то есть – богатая), пойду отбирать у него, мертвого, его последнюю добычу?! От одной мысли содрогаюсь. Так или иначе, я его последняя (может быть – предпоследняя!) радость, то, что он с собой в могилу унес. Мертвых не грабят.

Расстрел царя

Возвращаемся с Алей с каких-то продовольственных мытарств унылыми, унылыми, унылыми проездами пустынных бульваров. Витрина – жалкое окошко часовщика. Среди грошовых мелочей огромный серебряный перстень с гербом.

Потом какая-то площадь. Стоим, ждем трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский петушиный выкрик:

– Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже (то же!) слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза – куда? Да так, в пустоту. А может, трамвай выколдовывают.

Тогда я, Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил – знает):

– Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души!

И Алин тщательный, с глубоким поклоном, тоекратный крест. (Сопутствующая мысль: «Жаль, что не мальчик. Сняла бы шляпу».)

Покушение на Ленина

Стук в дверь. Слетаю, отпираю. Чужой человек в папаше. Из кофейного загара – белые глаза. (Потом рассмотрела: голубые.) Задышется.

– Вы Марина Ивановна Цветаева?

– Я.

– Ленин убит.

– О!!!

– Я к вам с Дону.

Ленин убит и Сережа жив! Кидаюсь на грудь.

Вечер того же дня. Квартиранист-коммунист З<<ак>>с, забегаю в кухню:

– Ну что, довольны?

Туплю глаза, – не по робости, конечно: боюсь слишком явной радостью оскорбить. (Ленин убит, белая гвардия вошла, все коммунисты повешены, З<<ак>>с – первый)... Уже – великодушье победителя.

– А вы – очень огорчены?

– Я? (Передергиванье плеч.) Для нас, марксистов, не признающих личности в истории, это, вообще, не важно, – Ленин или еще кто-нибудь. Это вы, представители буржуазной культуры... (новая судорога)... с вашими Наполеонами и Цезарями... (сатанинская усмешка)... а для нас, знаете. Нынче Ленин, а завтра...

Оскорбленная за Ленина (!!!) молчу. Недоуменная пауза. И быстро-быстро:

– Марина Ивановна, я тут сахар получил, три четверти фунта, мне не нужно, я с сахарным пью, может быть, возьмете для Али?

(Этот же Икс мне на Пасху 1918 г. подарил деревянного кустарного царя.)

Чесотка

Сейчас в Москве поветрие чесотки. Вся Москва чешется. Начинается между пальцами, потом по всему телу, подкожный клещ, где останавливается – нарыв. Бывает только по вечерам.

На службах надписи: «Рукопожатия отменяются». (Лучше бы – поцелуй!)

И вот недавно – в гостях, родственник хозяйки, тоже гость, настойчиво и с каким-то сдержанным волнением расспрашивает хозяйку дома о том, как это, и что это, и с чего это начинается, и от чего кончается – и кончается ли.

И ее неожиданно прозревший возглас:

– Абраша, наверное, у тебя самого чесотка!

(«Чесотка» в ее представлении, очевидно, – сам клещ. Блохи, мухи, тараканы, клопы, чесотки.)

С уходящими под видом шутки никто не прощается за руку. Хозяин, во избежание, даже целуется. Гость противен – буржуй. Достаточно омерзителен и без чесотки. Гость – трус и воздержавшимся сочувствует. Чесотка – мерзость. И, учитывая все, всю бессмысленность жеста и жертвы, в полном отчаянии и похолодании, не только протягиваю – но еще необычайно долго задерживаю его руку в своей.

Рукопожатие, воистину чреватое последствиями: тебе, чесоточному, уверенность в моей благосклонности и посему (учитывая чесотку!) вдвойне бессонная ночь: мне, не чесоточной, – чесотка и посему (учитывая твою уверенность!) тоже вдвойне бессонная ночь.

Как он спал, не знаю. Я, по крайней мере, не чесалась и не чешусь.

Fräulein¹⁶

Голодная толчея Охотного ряда. Продают морковь и малиновые трясучки, на картонных поддонниках, мерзкие. Не сдавшиеся – снуют, безнадежные – слоняются. Вдруг – знакомый затылок: что-то редкое, русое... Опережаю, всматриваюсь: молочные глаза, печальный красноватый клюв – Fräulein. Моя учительница немецкого из моей последней гимназии.

– Guten Tag, Fräulein!¹⁷ – испуганный взгляд. – Не узнаете? Цветаева. Из гимназии Брюхоненко.

И она озабоченно:

– Цветаева? Куда же я вас посажу? – И, останавливаясь: – Да куда же я вас посажу?

– Ну, тетка, проходи, что ли!

Не вынесли – немецкие мозги!

¹⁶ Барышня, девушка (нем.).

¹⁷ Добрый день, фройляйн! (нем.).

Ночевка в коммуне

Сию в гостях. Просят сказать стихи. Так как в комнате коммунист, говорю «Белую гвардию».

Белая гвардия – путь твой высок...

За белой гвардией – еще белая гвардия, за второй белой – третья, весь «Дон», потом «Кровных коней» и «Царю на Пасху», – словом, когда опоминаюсь – 12 часов, а ворота моего дома непременно заперты.

Ночевать мне здесь нельзя – «порядочный дом», с прислугами, с родственниками, остается одно: идти на Собачью площадку и спать под звуки пушкинского фонтана. О чем объявляю – смеясь, встаю и твердым шагом иду к двери. И, уже в дверях, певуче:

- Маринушка!
- Да?
- Вы серьезно собираетесь спать на улице?
- Совершенно.
- Но ведь это же...
- Да, очень, но...
- Тогда идите к нам, в коммуны.
- Но, может быть, вам неудобно?
- Отчего? У меня отдельная комната.
- Тогда – спасибо.

Сияю, ибо, несмотря на весь внутренний авантюризм, верней: благодаря всему внутреннему авантюризму, весьма и весьма обхожусь без внешнего! (NB! Из ночевки на коммунистической улице к ночевке в коммунистическом доме – авантюра все-таки – первое!)

Идем. Коммуна недалеко: великолепный каменный особняк, напоминающий Англию (никогда не была). Входим. Лестница с ковром. Тишина бархата. Тишина ночи. Мозолями рук по бархату перил. Проходим через пустую (и людьми и едой) столовую, еще через несколько комнат – пришли. Похоже на полуторный номер гостиницы: комната, заворачивая, образывает крюк. Привиденский штофный занавес, за которым незримое окно из несомненно – цельного стекла – если не выбито Октябрем. Мебельная мелочь, вроде столиков, этажерок, жардиньерок. Низкая деревянная резная кровать, очень глубокая, очень разлтая. Для долгих лежаний, для поздних вставаний. Для лени, для неги, для жиру, для всего, что ненавижу – кровать!

- Вот здесь вы будете спать, Маринушка.
- А вы?
- А я на диване, в кабинете.
- (Кабинет, очевидно – сам крюк.)

– Нет, я на диване! Я обожаю на диване! Я дома всегда спала на диване! Даже на собачьем! Когда приезжала из пансиона! А собака, поняв, что я заснула, тоже лезла и самым наглым образом спала у меня на голове... Честное слово!

- Но вы не в пансионе, Маринушка!
- Не напоминайте мне, дружок, где я!

Садимся. Курим. Беседуем. Уступает мне свой ужин: кусочек хлеба, три вареных свеклы и стакан чая с кусочком сахара.

- А вы?
- Я уже ужинал.

– Где? Нет, нет, вместе!

Говорим о стихах, о Германии, которую оба страстно любим, расспрашивает о моей жизни.

– Вам очень трудно живется?

Смущаюсь, скрашиваю.

И он:

– Маринушка, Маринушка... Ну, я скоро получу немножко муки, я вам тогда принесу... Как все это ужасно!

Я:

– Да уверяю вас...

Он, думая вслух:

– Может быть, удастся достать немножко пшена...

(И беспомощно):

– А уехать на юг – совсем невозможно?

(Ответственный работник!)

Смотрю в лицо: прелестное, худое; в глаза: карие, в роговых очках. И такое сознание его невинности, неповинности, такое задохновение жалости и благодарности, что... но слезы уже текут, и он, испуганно:

– А вести с Юга у вас, по крайней мере, не плохие?

Сплю, конечно, на кровати, – ни собаки, ни уверения не помогли. Перед сном еще пере-кликаемся.

– N! Вы бы хотели сейчас быть в Вене? Это – гостиница, сейчас 1912 г., выгляните, – живая, школьная, ночная Вена... и «Wienerblut»¹⁸...

И он, протяжно:

– Ах, я ничего не знаю, Маринушка!

Просыпаюсь с солнцем. Быстро влезаю в свое широченное красное платье (цвета cardinal – пожар!). Пишу записку N. Осторожно открываю дверь и – о, ужас! – огромная двухспальная кровать, и на ней – спящие. Отступаю. Потом, внезапно решившись, большими тихими шагами направляюсь к противоположной двери, уже нажимаю ручку...

– Да что же это такое?!

На кровати сидящий мужчина – всклокоченная голова, расстегнутый ворот, смотрит.

И я, вежливо:

– Это я. Я случайно ночевала здесь и иду домой.

– Но, товарищ!..

– Ради Бога, извините. Я не думала, что... Я думаю, что... Я, очевидно, не сюда попала...

И, не пережидая реплики, исчезаю.

(NB! Именно – *сюда!*)

Потом слышала от N.: спящий принял меня за красное привидение. Призрак Революции, исчезающий вместе с первыми лучами солнца!

Рассказывая, безумно смеялся.

Только сейчас, пять лет спустя, по достоинству оцениваю положение: единственное, что я догадалась сделать, попав в коммуны, – это попасть в чужую спальню, единственное – вопреки

¹⁸ «Венская кровь» (нем.).

всем призывам г<<оспо>>жи Коллонтай и К^о – у коммунистов – некоммунистического – «Plus royaliste que le Roi!»¹⁹
(Пометка весной 1923 г.)

¹⁹ Более роялист, чем король! (*фр.*).

Воин Христов

Раннее утро. Идем с Алей мимо Бориса и Глеба. Служба. Выходим, вслед за какой-то черной старушкой, по ступеням белого крыльца. Храм полон, от раннего часа и тишины впечатление заговора. Через несколько секунд явственно ушами слышу:

— ...Итак, братья, ежели эти страшные вести подтвердятся, как я только о том передаю, ударит звонарь в колокол, и побегут по всем домам гонцы-посланцы, оповещая всех вас о неслыханном злодеянии. Будьте готовы, братья! Враг бодрствует, бодрствуйте и вы! По первому удару колокола, в любой час дня и ночи — все, все в храм! Встанем, братья, грудью, защитим святыню! Берите с собой малолетних младенцев ваших, пусть мужчины не берут оружия: возденем голые руки горь, с знаком молитвы, посмотрим — дерзнут ли они с мечом на толпу безоружных!

А ежели и это свершится — что ж, ляжем все, ляжем с чувством исполненного долга на ступенях нашего храма, до последней капли крови защищая Господа нашего и Владыку Иисуса Христа, покровителей храма сего и нашу несчастную родину.

— ...Набат будет частый, дробный, с явственными перерывами... Поясняю вам сие, братья, для того, чтобы вы, спросонья, не спутали его с пожарным колоколом. Как услышите в неурочный час непривычный звон, так знайте: зовет, зовет Господь! Итак, дорогие братья...

И мое торопливое в ответ: «Дай Бог! Дай Бог, дай Бог!»

Москва. 1918 – 1919

О благодарности (Из дневника 1919 г.)

Когда пятилетний Моцарт, только что отбежав от клавесина, растянулся на скользком дворцовом паркете, и семилетняя Мария-Антуанэтта, единственная из всех, бросилась к нему и подняла его, – он сказал: «Celle-je l'epouserai», и, когда Мария-Тереза спросила его, почему, – «Par reconnaissance»²⁰.

Сколько она и потом, Королевой Франции, поднимала с паркета – всегда скользкого для игроков – честолюбцев – кутил, – крикнул ли ей кто-нибудь – par reconnaissance – «Vive la Reine!»²¹ когда она в своей тележке проезжала на эшафот.

Reconnaissance – узнавание. Узнавать – вопреки всем личинам и морщинам – раз, в какой-то час узренный, настоящий лик.

(Благодарность.)

Я никогда не бываю благодарной людям за поступки – только за сущности! Хлеб, данный мне, может оказаться случайностью, сон, виденный обо мне, всегда сущность.

Я беру, как я даю: слепо, так же равнодушная к руке дающего, как к своей, получающей.

Человек дает мне хлеб. Что первое? Отдарить. Отдарить, чтобы не благодарить. Благодарность: дар себя за благо, то есть: платная любовь.

Я слишком чту людей, чтобы оскорблять их платной любовью.

Оскорбительно для меня, следовательно и для другого.

Добрая воля, направленная на меня, никогда ничего не предreshала. Личность (направленность на меня) дара, в моем восприятии дара, отсутствует. Я благодарна не за себя и не за соседа, я благодарна.

Меня не купишь. В этом вся суть. Меня можно купить только сущностью. (То есть – сущность мою!) Хлебом вы купите: лицемерие, лжеусердие, любезность, – всю мою пену... если не накупить.

Купить – откупиться. От меня не откупишься.

Купить меня можно – только всем небом в себе! Небом, в котором мне может быть даже не будет места.

Благодарна я вне-лично, то есть лишь там, где я, помимо доброй воли человека и без его ведома, могу взять сама.

Отношение не есть оценка. Это я устала повторять. Оттого, что ты мне дал хлеба, я может быть стала добрее, но ты от этого не стал прекрасней.

²⁰ Я на ней женюсь... Из благодарности (фр.).

²¹ Из благодарности – «Да здравствует королева!» (фр.).

Поступок не есть отношение, отношение не есть оценка, оценка (критиком, например. Блока) не есть сущность (Блок).

Сущность – умысел, слышна только слухом.

Кусок хлеба от противного человека. Удачный случай. Не больше.

Ем ваш хлеб и поношу. – Да. —

Только корысть – благодарна. Только корысть мерит целое (сущность) по куску, данному ей. Только детская слепость, *глядящая* в руку, утверждает: «Он дал мне сахару, он хороший». Сахар хороший, да. Но оценивать сущность человека по сахарам и «чаям», от него полученным, простительно только детям и прислугам: инстинкту.

Да и то нет: мы часто наблюдаем собак, предпочитающих господина своего, ничего не дающего, – кухарке, кормящей.

Отождествлять источник благ с благами (кухарку – с мясом, дядю с сахаром, гостя – с чаевыми) признак полной неразвитости души и мысли. Существо, не пошедшее дальше пяти чувств.

Собака, любящая за то, что гладят, выше кошки, любящей за то, что гладят, и кошка, любящая за то, что гладят, выше ребенка, любящего за то, что кормят. Все дело в степенях.

Так, от простейшей любви за сахар – к любви за ласку – к любви при виде – к любви не видя (на расстоянии)²², – к любви, невзирая (на нелюбовь), от маленькой любви *за* – к великой любви *вне* (меня) – от любви получающей (волей другого!) к любви берущей (даже помимо воли его, без ведома его, против воли его!) – к *любви в себе*.

Чем старше мы, тем большего мы хотим: в младенчестве – только сахара, в юности – только любви, в старости – только (!) сущности (тебя вне меня).

Чем меньше мы внешние блага ценим, тем легче мы их даем и берем, тем меньше мы за них благодарны.

(Практически: благодарность за хлеб (даяние) я допускаю только молчаливую. В явной – нечто устыжающее дающего, какой-то укор.)

Радость хлебу – вот лучшая благодарность! Благодарность, кончающаяся с последним глотком в пищевод.

Неужели эта частность, малость, подразумеваемость (для меня) – *дать* – неминуемо должна вырасти в какую-то гору, из-за приставки: *мне*.

Я-то ведь знаю, как дают: слепо! И я разве сама стерплю, чтобы меня благодарили за хлеб? (За стихи не стерплю, – вот что!)

Хлеб – разве это я?! Стихи (случайность песенного дара) – разве это я?!

Я, это под небом, одна. Отойдите и благодарите.

Я не хочу низко думать о людях. Когда я даю человеку хлеб, я даю голодному, то есть пищеводу, то есть *не ему*. Его душа здесь ни при чем. Я могу дать любому – и не я даю: любой. Хлеб сам себя дает. И я не хочу верить, чтобы любой, давая моему пищеводу, требовал за это с *моей* (или моей) души.

²² Отсюда – вся я (примеч. М. Цветаевой).

Но не пищевод дает: душа! Нет, рука. Эти дары не личны. Странно предпочитать один желудок другому, а если и предпочитать – то более голодный. Более голодный, на сегодня, мой (твой). Я за это не ответственна.

Так, установив дающего (руку) и получающего (пищевод) – странно требовать одному куску мяса от другого куска мяса... благодарности.

Души благодарны, но души благодарны исключительно за души. Спасибо за то, что ты есть.

Все остальное – от меня к человеку и от человека ко мне – оскорбление.

Дать, это не действительность наша! Не личность наша! Не страсть! Не выбор! Нечто, принадлежащее всем (хлеб), следовательно (у меня его нет) у меня отобранное, возвращается (через тебя) ко мне (через меня – к тебе). Хлеб нищему – восстановление прав.

Если бы мы давали кому *мы* хотим, мы были бы последние негодяи. Мы даем тому, *кто* хочет. Его голод (воля!) вызывает наш жест (хлеб). Дано и забыто. Взято и забыто. Никакой связи, никакого родства. Дав, отмежевываюсь. Взяв, отмежевываюсь.

Без последствий.

– Так зачем же мне тебе давать?

– Чтобы не быть подлецом.

Помню гимназисткой – в проходном церковном дворе – нищий. – «Подайте, Христа ради!» – Миную. – «Подайте, Христа ради!» – Продолжаю идти. Он, забегая: – «Не ради Бога – так хошь ради черта!»

Почему дала? Вознегодовал.

Хлеб. Жест. Дать. Взять. Этого не будет *там*. Поэтому все, возникающее из дать и взять – ложь. Сам хлеб – ложь. Ничто, построенное на хлебе, не уцелеет (замешенное на дрожжах – не взойдет). Опара наших хлебных чувств при хладной температуре Бессмертия неминуемо опадет.

Не стоит и замешивать.

Брать – стыд, нет, давать – стыд. У берущего, раз берет, явно нет; у дающего, раз дает, явно есть. И вот эта очная ставка есть с нет...

Давать нужно было бы на коленях, как нищие просят.

К счастью, этим стыдом даяния награждены только нищие. (Деликатность их дара!) Богатые ограничиваются минутной заминкой докторского гонорара.

Благодарность: от любования до опрокинутости.

Я могу любоваться только рукой, отдающей последнее, следовательно: я никогда не могу быть благодарной богатым.

...Разве что за робость их, виноватость их, сразу делающую их невинными.

Бедный, когда дает, говорит: «Прости за малость». Смущение бедного от «больше не могу». Богатый, когда дает, ничего не говорит. Смущение богатого от «больше не хочу».

Дать, это настолько легче, чем брать – и настолько легче, чем *быть*.

Богатые откупаются. О, богатые безумно боятся – не Революции, так Страшного Суда. Я знаю мать, покупающую молоко чужому (больному!) ребенку только для того, чтобы не погиб ее собственный (здоровый). Богатая мать, спасая чужого ребенка от смерти (достоверной), только выкупает своего у смерти возможной. («Умолить судьбу!»)

Я смотрю в исток поступка, в умысел его. Это молоко ей, богатой матери, на Страшном Суде потечет смолой.

Благотворительность. Поликратов перстень.

Дар нищего (кровный, последний!) безличен. «Бог дает». Дар богатого (излишек, почти отброс) имеет имя, отчество, фамилию, чин, звание, род, день, час, число. И – память. Дала правая, а помнят обе.

Нищий, подав из руки в руку, забыл. Богатый, выславший через прислугу, помнит. И, если вдуматься, понятно: некий оправдательный материал для Страшного Суда.

– Гадательный материал.

Москва, июль 1919

Отрывки из книги «Земные приметы»

Таинственная скука великих произведений искусства, – одних уже наименований их: Венера Милосская, Сикстинская Мадонна, Колизей, Божественная Комедия (исключение Музыка. «Девятая симфония», – это всегда вздымает!).

Точно на них пудами навязла скука всех их читателей, читателей, попечителей, толкователей...

И таинственное притяжение мировых имен: Елена, Роланд, Цезарь (включая сюда и творцов вышеназванных творений, если имена их пребыли).

Сказанное относится к звуку имен их, к моему слуховому восприятию. Касательно же сущности – следующее:

Творению я несомненно предпочитаю Творца. Возьмем Джоконду и Леонардо. Джоконда – абсолют, Леонардо, нам Джоконду давший – великий вопросительный знак. Но может быть, Джоконда и есть ответ Леонардо? Да, но не исчерпывающий. За пределами творения (явленного!) еще целая бездна – Творец: весь творческий Хаос, все небо, все недра, все завтра, все звезды, – все, обрываемое здесь земною смертью.

Так абсолют (творение) превращается для меня в относительность: вехи к Творцу.

– Но это уничтожение искусства!

– Да. Искусство не самоцель: мост, а не цель.

Произведение искусства отвечает, живая судьба спрашивает (тоска рожденного по воплощению в искусстве!). Произведение искусства, как совершенное, приказует, живая судьба, как несовершенное, просит. Если ты хочешь *абсолюта*, иди к Венере Милосской, Мадонне – Сикстинской, Улыбке – Леонардовской, если ты хочешь дать абсолют (ответить!), иди к Афродите – просто, Марии – просто, Улыбке – просто: минуя толкование – к первоисточнику, т. е. делай то же, что делали творцы этих творений, безымянных или именных.

Этим ты не умаляешь ни Гёте, ни Леонардо, ни Данте. Твоя немота перед ними – твоя дань им. Что можно ответить на исчерпывающий ответ? Молчишь.

Но если ты рожден в мир – давать ответы, не застывай в блаженном небытии, не так творили и не этого, творя, хотели Гёте, Леонардо, Данте. Быть опрокинутым – да, но уметь и встать: припав – оторваться, пропав – воскреснуть.

Коленопреклонись – и иди мимо: в мир нерожденный, несотворенный и жаждущий.

В этой *отбрасывающей* силе и есть главная сила великих произведений искусства. Абсолют отбрасывает – к созданию абсолютов же! В этом и заключается их действенность и вечная жизнь.

Но между Джокондой (абсолютным толкованием Улыбки) и мною (сознанием этой абсолютности) не только моя немота, – еще миллиарды толкователей этого толкования, все книги о Джоконде написанные, весь пятивековой опыт глаз и голов, над ней тщившихся.

Мне здесь нечего делать.

Абсолютна, свершена, совершенна, истолкована, залюблена.

Единственное, что можно перед Джокондой – *не быть*.

«Но Джоконда улыбкой – спрашивает!» На это отвечу: «Вопрос ее улыбки – и есть ответ ее». Неизбежность вопроса и есть абсолют ответа. Сущность улыбки – вопрос. Вопрос дан в непрерывности, следовательно дана сущность улыбки, ответ ее, абсолют ее.

Толковать Улыбку (Джоконду) ученым, художникам, поэтам и царям – бессмысленно. Дана Тайна, тайна как сущность и сущность как тайна. Дана Тайна в себе.

Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.
Не любить – видеть вместо него: стол, стул.

Дочь, у которой убили отца – сирота. Жена, у которой убили мужа – вдова. А мать, у которой убили сына?

Всегда крещусь, переезжая через реку. Подумать не успев. Любопытно, есть ли в народе такая примета? Если нет, значит – была.

Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию – тонко. Где тонко, там и рвется.

«Я вас не оставлю!» Так может сказать только Бог – иди мужик с молоком в Москве, зимой 1918 г.

Я и Театр:

Я принадлежу к тем зрителям, которые, по окончании мистерии, разрывают на части Иуду.

Вся тайна в том, чтобы сто лет назад видеть, как сегодня, и сегодня – как сто лет назад.

(Уничтожение... я хотела написать: пространства. Нет, времени. Но «время» не мыслишь иначе как: расстояние. А «расстояние» – сразу версты, столбы. Стало быть: версты, это пространственные годы, равно как год – это во времени – верста.

Так или иначе, но перемещать годы и версты – нужно.)

Верста: уводящая! Насколько это лучше «исходящей» (о «входящей» уже не говорю: вошла – так осталась!).

Любовь – как заговор:

Zur rechten Zeit,
Am rechten Ort,
Der rechte Mann —
Das rechte Wort²³.

И главное – Wort! Zeit, Ort, Mann – уступаю.

Когда я уезжаю из города, мне кажется, что он кончается, перестает быть. Так о Фрейбурге, например, где я была девочкой. Кто-то рассказывает: «В 1912 г., когда я, проездом через Фрейбург...» Первая мысль: «Неужели?» (То есть неужели он, Фрейбург, есть, продолжает быть?) Это не сомнение, я знаю, что я в жизни городов – ничто. Это не: *без меня?!*, а: *сам по себе?!* (То есть: он действительно есть, вне моих глаз есть, не я его выдумала?)

²³ В то самое время, В том самом месте, Тот самый человек – То самое слово (нем.).

Когда я уйду из человека, мне кажется, что он кончается, перестает быть. Так и о Z, например. Кто-то рассказывает: «В 1917 г., когда я встретился с Z»... Первая мысль: «Неужели?» (То есть: неужели он, Z, есть, продолжает быть?) Это не сомнение, я знаю, что я в жизни людей – ничто...

«Кончается, перестает быть». Здесь нужно различать два случая.

Первый:

Сильно ожитые (оживленные? выжатые?) мною люди и города пропадают безвозвратно: как проваливаются. Не гулкие Китежи, – глухие Геркуланумы.

Города и люди же, лишь беглым игрищем мне служившие – застывают: на том самом месте, на том самом жесте. Стереоскоп.

Когда я слышу о первых, я удивляюсь: неужели *стоит*?

Когда я слышу о вторых, я удивляюсь: неужели *растет*?

Повторяю, это не сомнение, это глубокое, невинное, подчас радостное изумление. Слушаю, расспрашиваю, участвую, сочувствую... и, втайне: «Не Фрейбург. Не тот Фрейбург. Личина Фрейбурга. Обман. Подмена».

Надо, в Революции, многое запереть на ключ: все, кроме сундуков! И, заперев, закинуть этот ключ... но и моря такого нет!

Нет, заперев, молча и мужественно вручить этот ключ – Богу.

Бог я произношу, как утопающий: вздохом. Смутное чувство: не надо Бога тревожить (знать), когда сам можешь. А «можешь» с каждым днем растет...

Есть у Мандельштама об этом изумительный (отроческий) стих:

...Господи! – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать...

и – дальше:

Имя Божье, как большая птица,
Вылетело из моей груди...

Нечаянно. – Но я никогда не дерзну назвать себя верующей, и это – молитвой.

Что я в ущерб чему в жизни не провозглашала!

Фотографию в ущерб портрету, крепостное право в ущерб вообще праву, капусту в ущерб розе, Марфу в ущерб Марии, староверов в ущерб Петру... Самое обратное себе – в ущерб самой себе!

И не из спорта (отсутствует!), не для спора (страдаю!) – из чистой справедливости: прав, раз обижен.

И еще: из полной невозможности со-чувствия (-мыслия, -любия) с лицемерами, втайне бесспорно предпочитающими: фотографию – портрету, крепостное право – просто – праву, капусту – розе, Марфу – Марии, длиннородных – Петру!

Но есть еще тайна: вещь, обиженная, начинает быть правой. Собирает все свои силы – и выпрямляется, все свои права на существование – и стоит.

(NB! Действенность гонимых идей и людей!)

Нет ведь окончательной лжи, у каждой лжи ведь хотя бы один луч – в правду. И вот она вся идет по этому лучу. Обнаруженная и покаянная вина уже становится бедою, ответ-

ственность спадает на головы судей. Преступник, осужденный здесь, перед Богом чист. Но есть еще тайна, и страшнейшая, быть может: заразность караемых нами недугов, наследственность вины. Преступник, насильственно избавляемый нами от болезни, передает нам болезнь. Каждый судья и палач – наследник.

Есть еще в этом какая-то воля крови. Кровь земная проливаться должна. Преступника нет, ближайший родственник палач (или судья, равно!). Недопротитая преступником кровь вопиет к палачу: пролей! Секунда казни – секунда союза. Первая капля брызнувшей преступниковой крови – уже вступление во владение... и обязанности.

Есть браки таинственнее мужа и жены.

(Таинственное соответствие: алтарь, плаха; топор, крест; народ, хор; судья, священник; палач и жертва – брачующиеся; вместо невидимого Бога – невидимый Черт. Чертова свадьба наоборот, с той же непреложностью безмолвного обета.)

Ни одна правда (из царства Там) не может не сделаться ложью в царстве Здесь. Ни одна ложь (из царства Здесь) не может не сделаться правдой в царстве Там.

Правда – перебежчица.

В комиссариате:

Я, невинно: «А трудно это – быть инструктором?»

Моя товарка по комиссариату, эстонка, коммунистка: «Совсем не трудно! Встанешь на мусорный ящик – и кричишь, кричишь, кричишь...»

Буржуазии для очистки снега запретили пользоваться лошадиными силами. Тогда буржуазия, недолго думая, наняла себе верблюда. И верблюд возил. И солдаты сочувственно смеялись: «Молодцы! Ловко обошли декрет!»

(Собственными глазами видела на Арбате.)

О ты, единственное блюдо
Коммунистической страны!

(Стих о вобле в газете «Всегда вперед!».)

Люди театра не переносят моего чтения стихов: «Вы их губите!» Не понимают они, кордебейники строк и чувств, что дело актера и поэта – разное. Дело поэта: вскрыть – скрыть. Голос для него броня, личина. Вне покрова голоса – он гол. Поэт всегда замечает следы. Голос поэта – водой – тушит пожар (строк). Поэт *не может* декламировать: стыдно и оскорбительно. Поэт – уединенный, подмостки для него – позорный столб. Преподносить свои стихи голосом (наисовершеннейшим из проводов!), использовать Психею для *успеха*?! Достаточно с меня великой сделки записывания и печатания!

– Я не импресарио собственного позора! —

Актер – другое. Актер —вторичное. Насколько поэт – être²⁴, настолько актер – paraître²⁵. Актер – упырь, актер – плющ, актер – полип. Говорите, что хотите: никогда не поверю, что Иван Иванович (а все они – Иваны Ивановичи!) каждый вечер волен чувствовать себя Гамлетом. Поэт в плену у Психеи, актер Психею хочет взять в плен. Наконец, поэт – самоцель, покоится

²⁴ Быть (фр.).

²⁵ Казаться (фр.).

в себе (в Психее). Посадите его на остров – перестанет ли он *быть*? А какое жалкое зрелище: остров – и актер!

Актер – для других, вне других он немислим, актер – из-за других. Последнее рукоплескание – последнее биение его сердца.

Дело актера – час. Ему нужно торопиться. А главное – пользоваться: своим, чужим, – равно! Шекспировский стих, собственная тугая ляжка – все в котел! И этим сомнительным пойлом вы предлагаете опиваться мне, поэту? (Не о себе говорю и не за себя: Психею!)

Нет, господа актеры, наши царства – иные. Нам – остров без зверей, вам – звери без острова. И недаром вас в прежние времена хоронили за церковной оградой!

(Исключение для: певцов, поработанных стихией голоса, растворяющихся в ней, – для актрис, то есть: женщин: то есть: природно себя играющих, и для всех тех, кто, прочтя меня, *понял – и пребыл.*)

Все это, и несомненно это, а не иное, уже было высказано тем евреем, за которого всех русских отдам, предам, а именно: Генрихом Гейне – в следующей сдержанной заметке:

«Театр не благоприятен для Поэта, и Поэт не благоприятен для Театра».

Мастерство беседы в том, чтобы скрыть от собеседника его нищенство. Гениальность – заставить его, в данный час, быть Крезом.

Москва сейчас смотрит на трамваи с недоверием, как на воскресшего Лазаря. (И, мгновенно забывая и Москву и трамваи: а ведь недоверие Лазаря к миру – страшнее!)

Лазарь: застекленевшие навек глаза. Лазарь – глаза – Glas... И еще *glas des morts*²⁶... (Неужели от этого?)

«Воскреси его, потому что нам без него скучно!» – то же самое, что: «Разбуди его, потому что мы без него не спим»... Разве это довод? – О, какое мертвое, плотское, чудовищное чудо! Какое насилие над Лазарем и какое – страшнейшее – над собой!

Лазарь, возвращающийся *оттуда*: мертвый к живым, и Орфей, спускающийся *туда*: живой – к мертвым... Разверстая яма и Елисейские поля. – Ах, ясно! – Лазарь *оттуда* мог принести только тлен: дух, в Жизнь воскресший, в жизнь не «воскресает». Орфей же из жизни ушел – в Жизнь. Без чужого веления: жаждой своей.

(А может быть, просто обряд погребения? Там – урна, здесь – склеп. Орфею навстречу в Аиде двинулся призрак, из пепла восставший. А Марии и Марфе – труп.)

Как мне жаль Христа! Как мне жаль Христа за его насильственные чудеса! Христос, пришедший горы двигать – словом! «Докажи, тогда поверим!» – «Верим, но подтверди!» Между чудом в Кане (по просьбе Марии) и испытующим перстом Фомы – странная переключка. Если бы Мария была зорче, она бы, вслед за превращением воды в вино, увидела другое превращение: вина – в кровь...

Убеждена, что Иоанн у Христа не просил чудес.

В Комиссариате: (З М).

– Ну, как довели картошку?

²⁶ Похоронный звон (*фр.*).

- Да ничего, муж встретил.
- Вы знаете, надо в муку прибавлять картошку, 1/3 картошки, 1/3 муки.
- Правда? Нужно будет сказать матери.
- У меня: ни матери, ни мужа, ни муки.

«Пражская столовая» на углу Николо-Песковского и Арбата. Помню, в военные времена, бюст Бонапарта. Февральская Революция сменила его на Керенского. Ах, о Керенском! Есть у меня такой сувенир: бирюзовая картонная книжечка с золотым ободком, распахнешь: слева разбитое зеркальце, справа – Керенский, Керенский, денно и нощно глядящийся в дребезг своих надежд. Эту реликвию я получила от няньки Нади, в обмен на настоящее зеркало, цельное, без Диктатора.

Возвращаясь к столовой: Керенского Октябрь заменил Троцким. Устрашающая харя Троцкого, взирающая на пожирающих детей. И еще Марксом, который, занятый Троцким, на детей не глядит. Пресловутый и спорный суп, кстати, дети выплескивают в миску сенбернара *Марса*, с 12-ти до 2 часов дежурящего у дверей. Иногда перепадает и в миски нищенок: Марс не ревнив.

Неприлично быть голодным, когда другой сыт. Корректность во мне сильнее голода, – даже голода моих детей.

- Ну как у Вас, все есть?
- Да, пока слава Богу.

Кем нужно быть, чтобы так разочаровать, так смутить, так уничтожить человека отрицательным ответом?

- Просто матерью.

(Сейчас, в 1923 г. ставлю вопрос иначе:

Кем нужно было быть, чтобы тогда, в 1919 г., в Москве, зная меня, видя моих детей – так спрашивать?!

- Просто «знакомым».)

(Вторая пометка:

Не корректность, – чуткость на интонацию! Вопрос диктует ответ. На «ничего нет» в лучшем смысле последовало бы: «Как жаль!»

Дающий не спрашивает.)

Жестокосердые мои друзья! Если бы вы, вместо того, чтобы угощать меня за чайным столом печеньем, просто дали мне на завтра утром кусочек хлеба...

Но я сама виновата, я слишком смеюсь с людьми.

Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб – краду.

Мои покражи в Комиссариате: два великолепных клетчатых блокнота (желтых, лакированных), целая коробка перьев, пузырек английских красных чернил. Ими и пишу.

Кривая вывозит, прямая топит.

Вместо «Монпленбеж», задумавшись, пишу: «Монплэзир» (Monplaisir – нечто вроде маленького Версаля в XVIII в.).

Мое «не хочу» всегда: «не могу». Во мне нет произвола. «Не могу» – и кроткие глаза.

Мое «не могу» – некий природный предел, не только мое, – всякое. В «хочу» нет предела, поэтому нет и в «не хочу».

Не хочу – произвол, не могу – необходимость. «Чего моя правая нога захочет...», «Что моя левая нога сможет», – этого нет.

Не могу священнее не хочу. Не могу, это все перебороты не хочу, все исправленные попытки хотеть, – это последний итог.

Мое «не могу» – это меньше всего немощь. Больше того: это моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям (над собой насилиям!) все-таки не хочет, вопреки моей хотящей воле, направленной против меня, не хочет за всю меня, значит, есть (помимо моей воли!) – «во мне», «мое», «меня», – есть я.

Не хочу служить в Красной Армии. Не могу служить в Красной Армии. Первое предпосылает: «Мог бы, да не хочу!» Второе: «Хотел бы, да не могу». Что важнее: не мочь совершать убийства, или не хотеть совершать убийства? В не мочь – вся наша природа, в не хотеть – наша сознательная воля. Если ценить из всей сущности волю – сильнее, конечно: не хочу. Если ценить всю сущность – конечно: не могу.

Корни не могу глубже, чем можно учесть. Не могу растет оттуда, откуда и наши могу: все дарования, все откровения, все наши Leistungen²⁷: руки,двигающие горы; глаза, зажигающие звезды. Из глубин крови или из глубин духа.

Я говорю об исконном не могу, о смертном не могу, о том не могу, ради которого даешь себя на части рвать, о *кротком* не могу.

Утверждаю: не могу, а не не хочу создает героев!

Да будет мое *не хочу* – не могу: великим и последним не хочу всего существа. Будем хотеть самых чудовищных вещей. Ноги, ступайте! Руки, хватайте – чтобы в последнюю минуту: ноги вкопанные, топор – из рук: не могу!

Будем начинать с хотения! Перехотим все! «Не могу» без всех испробованных «хочу» – жалкая немощь и, конечно, кончится: могу.

– Но если я не только не могу (предать, скажем), если я еще и не хочу *мочь*? (предать).

Но в настоящих устах не хочу и есть не могу (не воля моя одна, а вся сущность моя не хочет!), но в настоящих устах не могу и есть не хочу (не бессознательная сущность моя одна, но и воля моя не хочет!).

Не могу этого хотеть и не хочу этого мочь.

– Формула. —

Не могу: 1) взять в руки червя, 2) не встать на защиту (прав, виноват, здесь, за сто верст, днесь, за сто лет – равно), 3) встать на защиту – свою, 4) любить совместно.

²⁷ Деяния (нем.).

Стоит мне только начать рассказывать человеку то, что я чувствую, как – мгновенно – реплика: «Но ведь это же рассуждение!» Чувства, для людей, это какие-то простоволосые фурии, нечто не в них происходящее: на них обрушивающееся. Вроде каменного обвала, под которым они сразу – в кашу!

– иначе:

Четкость моих чувств заставляет людей принимать их за рассуждения.

Я не влюблена в себя, я влюблена в эту работу: слушание. Если бы другой так же дал мне слушать себя, как я сама даю (так же дался мне, как я сама даюсь), я бы так же слушала другого.

О других мне остается только одно: гадать.

– Познай самого себя!

Познала. – И это нисколько не облегчает мне познания другого. Наоборот, как только я начинаю судить человека по себе, получается недоразумение за недоразумением.

Я не думаю, я слушаю. Потом ищу точного воплощения в слове. Получается ледяная броня формулы, под которой – только сердце.

Я не подслушиваю, я выслушиваю. Так же, как врач: грудь.

И как часто: стучишь, – глухо!

Есть люди определенной эпохи и есть эпохи, воплощающиеся в людях. (Не Бонапарт – XIX век: XIX век – Бонапарт!)

О бытии и небытии в любимом:

Я никогда не хочу на грудь, всегда в грудь! Никогда – припбсть! Всегда пропбсть! (В прупасть.)

«Живой» никогда не даст себя так любить, как «мертвый». Живой сам хочет быть (жить, любить). Это мне напоминает вечный вопль детства: «Я сам! Я сам!» И непременно – ногой в рукав, рукой в сапог.

Так и с любовью.

Я хочу в тебе уничтожиться, то есть я хочу быть тобой. Но тебя уже в тебе нет, ты уже целиком во мне. Пропадаю в собственной груди (тебе). Я не могу пропасть в твоей груди, потому что там тебя нет. Но может быть я там есть? (Взаимная любовь. Души поменялись домами.) Нет, и меня там нет. Там ничего нет. Меня же нигде нет. Есть моя грудь – и ты. Я тебя люблю тобой.

Захват? Да. Но лучше, чем товарообмен.

Ну, а взаимная любовь? (Товарообмен.) Единоновременный и перекрестный захват (отдача). Два пропада: души X в собственной груди, где Z, и души Z – в собственной груди, где X.

Но раз я в тебе живу, я не пропала! Но раз ты во мне живешь, ты не пропал! Это бытие в любимом, это «я в тебе и ты во мне», это все-таки я и ты, это не двое стали одним. Двое стали одним – небытие. Я говорила о небытии в любимом.

Двое – одно, то есть: небытие в любимом возможно только для одного. Для того, чтобы не-быть в другом, нужно, чтобы другой *был*.

Оговорка: Все сказанное относится, конечно, к нашему восприятию души другого, к нашей тайной жизни с душой другого.

При условии, что каждый из двух не знает, что другого нет, верит, что другой есть, не знает, что другой в нем уничтожен, – при условии незнания взаимное небытие друг в друге, конечно, возможно.

Наш захват другого – только в нас.

«Для меня тебя в тебе нет, ты вся во мне». Так думает поэт о своей Психее, это не мешает ей выходить замуж и любить другого, но ее замужество, в свою очередь, не мешает и не может помешать поэту.

Больше скажу: сила захвата в прямом соотношении с тайной, глубина его – с внешней опровержимостью его. Когда уже ничто не мое – все мое! Это прямой дорогой подводит нас к смерти: физической смерти любимого. Только не смешивайте с ревностью! «Не будь» ревности – от нищеты и страха. («Раз в гробу, то уже нет соперников!») Для захвата ни соперников, ни гроба: «не будь» захвата – это последний отказ, дающий последнюю власть.

Выдавайте ваших красавиц подальше замуж, поэты! Чтобы ни один ваш вздох (стих) не дошел, не вернулся – вздохом! Откажитесь даже от снов о них.

День их бракосочетания – ваш первый шаг к победе, день их погребения – ваш апофеоз.
(Беатриче. Данте.)

Любовь для меня – любящий. И еще: ответно любящего я всегда чувствую третьим. Есть моя грудь – и ты. Что здесь делать другому? (действенности его?)

Ответ в любви – для меня тупик. Я ищу не вздохов, а выходов.

У нас на кухне ночует мальчик, сын бабы, которая возит нам молоко.

– «Не думалось мне, что придется мне на пружине ночевать!» От этого «на пружине» у меня сжимается сердце.

– Вот тебе и ненависть к простонародью!

Вчера, в Охотном, один мужик другому:

– Ты не охай! Нынче год-то такой – девятнадцатый!

– Ну что, – Москву навещаешь?

(Как больного.)

Смерть страшна только телу. Душа ее не мыслит. Поэтому, в самоубийстве, тело – единственный герой.

Самоубийство: lâcheté²⁸ души, превращающаяся в героизм тела. То же самое, как если бы Дон Кихот, струсив, послал в сражение Санчо Пансо – и тот повиновался.

Героизм души – жить, героизм тела – умереть.

В православной церкви (храме) я чувствую тело, идущее в землю, в католической – душу, летящую в небо.

²⁸ Предыдущий отрывок о несуществующих на русском языке словах – пропущен. «Lâcheté», напр<<имер>>, смесь трусости и низости, не одна трусость (примеч. М. Цветаевой).

Стихи и проза:

В прозе мне слишком многое кажется лишним, в стихе (настоящем) все необходимо. При моем тяготении к аскетизму прозаического слова, у меня, в конце концов, может оказаться остов.

В стихе – некая природная мера плоти: меньше нельзя.

Две любимые вещи в мире: песня – и формула.

(То есть, пометка в 1921 г., стихия – и победа над ней!)

Я не стою ни за одну свою земную примету, то есть: в слове «земные приметы» я «земные» (вещественность) уступаю, примету (смысл) – нет.

Я не стою ни за одну свою земную примету в отдельности, как ни за один свой отдельный стих и час, – важна совокупность.

Я не стою даже за совокупность своих земных примет, я стою только за право их на существование и за правду – своего.

Гениальный совет С. (сына художника). Как-то зимой я жаловалась (смеясь, конечно!), что у меня совсем нет времени писать. – «До пяти служба, потом топка, потом стирка, потом купанье, потом укладыванье...»

– Пишите ночью!

В этом было: презрение к моему телу, доверие к моему духу, высокая беспощадность, делавшая честь и С. и мне. Высокая дань художника – художнику.

Влияние коненковского Стеньки Разина на умы. Солдат, проходя мимо Храма Спасителя, другому солдату:

– Его бы раскрасить!

На унылом заборе где-то вкрявь от Храма Христа Спасителя робкая надпись: «Исправляю почерк».

Это почему-то – безнадежностью своей! – напоминает мне мою распродажу (чтобы уехать на юг).

Эпиграф к моей распродаже:

У Катеньки резвушки
Все сломаны игрушки:
Собачки без носов,
Барашки без рогов.
От чайного прибора
Наверно, очень скоро
Не будет ничего...

Да ничего и нету!

Поломаны, для примера: швейная машина, качалка, диван, два кресла, Алины два детских стульчика, туалет... У мраморного умывальника не хватает бока, примус не горит, термос не хранит, от лампы-молнии – одни молнии, граммофон без винта, этажерки не стоят, чайные сервизы без чашек, чашки без ручек, ручки без ножек...

А рояль глухой на обе педали! А шарманка красного дерева – впрочем, никогда не игравшая! (В первую секунду обмолвилась было двумя тактами «Schlittschuhläufer»²⁹ – и замолчала, то есть зарычала так, что мы замолчали!) А три беличьих клетки – без белок и без дверок! (Запах остался.) А детская ванна с свороченным краном и продавленным боком! А большая цинковая, зазеленевшая как затон, безнадежная как гроб! А Наполеоновские гравюры: граненые стекла на честном слове бумажных окантовок, ежесекундно грозящие смертью! А мясорубка, а ролики, а коньки!

Ломали, главным образом, Алины няньки и Сережины юнкера. И те и другие по молодости, горячности: жару сердца и рук. Нянькам надоело сидеть с ребенком, и они крутили граммофон, юнкерам надоело твердить устав – и они крутили машинку.

Но не юнкера и не няньки, как сейчас – не большевики и не «жилыцы». Говорю: судьба. Вещь, оскорбленная легкомысленным отношением, мстит: разлагается. Вот история моего «быта».

Плотогоны! – Слово из моего детства! Ока, поздняя осень, стриженные луга, в колеях последние цветочки – розовые, мама и папа на Урале (за мрамором для музея) – сушеные яблоки – гувернантка говорит, что ей ночью крысы отъели ноги – плотогоны придут и убьют...

По 30-му купону карточки широкого потребления выдаются гробы, и Марьюшка, старая прислуга Сонечки Голлидэй, недавно спрашивала у своей хозяйки разрешение водрузить таковой на антресоли: «а то – неровен час...»

Но бедную старуху ждало жестокое испытание: розовых (девичьих!) не было, и придется ей, восемьдесят лет подряд безупречно девствовавшей, упокоиться в мужеском голубом.

Карусель:

В первый раз в жизни я каталась на карусели одиннадцати лет, в Лозанне, – второй третьего дня, на Воробьевых горах, в Духов день, с шестилетней Алей. Между этими двумя каруселями – жизнь.

Карусель! – Волшебство! Карусель! – Блаженство! Первое небо из тех семи! Перегруженное звездами, заряженное звонами, первое бедное простонародное детское небо земли!

Семь вершков от земли только – но уж нога не стоит! *Уж возврата нет!* Вот это чувство безвозвратности, обреченности на полет, вступления в круг —

Планетарность Карусели! Сферическая музыка ее гудящего столба! Не земля вокруг своей оси, а небо – вокруг своей! Источник звука скрыт. Сев – ничего не видишь. В карусель попадаешь как в смерч.

Геральдические львы и апокалипсические кони, не призраки ли вы зверей, коими Вакх наводнил свой корабль?

Хлыстовское радение – круговая порука планет – Мемнонова колонна на беззакатном восходе... Карусель!

Обожаю простонародье: в полях, на ярмарках, под хоругвями, везде на просторе и в веселье, – и не зрительно: за красные юбки баб! – нет, любовно люблю, всей великой верой в человеческое добро. Здесь у меня, поистине, чувство содружества. Вместе идем, в лад.

Обожаю богатых. Богатство – нимб. Кроме того, от них никогда ничего не ждешь хорошего, как от царей, поэтому просто – разумное слово на их устах – откровение, просто – чело-

²⁹ «Конькобежцев» (нем.).

веческое чувство – героизм. Богатство всё утысячеряет (*резонанс нуля!*). Думал, мешок с деньгами, нет – человек.

Кроме того, богатство дает самосознание и спокойствие («все, что я сделаю – хорошо!») – как дарование, поэтому с богатыми я на своем уровне. С другими мне слишком «униженно».

Кроме того, клянусь и утверждаю, богатые добры (так как им это ничего не стоит) и красивы (так как хорошо одеваются). Если нельзя быть ни человеком, ни красавцем, ни знатным, надо быть богатым.

Таинственное исчезновение фотографа на Тверской, долго и упорно снимавшего (бесплатно) всех ответственных советских работников.

Недавно, в Кунцеве, неожиданно крещусь на дуб. Очевидно, источник молитвы не страх, а восторг.

На Смоленском хлеб сейчас 60 р<<ублей>> фунт, и дают только по 2 ф<<унта>>. Того, кто хитростью покупает больше – бьют.

Я неистощимый источник ересей. Не *зная* ни одной, исповедую их все. Может быть и творю.

Нужно писать только те книги, от отсутствия которых страдаешь. Короче: свои настольные.

Самое ценное в стихах и в жизни – то, что сорвалось.

Простонародье никогда не заблудится в городе. Звериное и дикарское чувство места.

Сейчас все кончается, потому что ничто не чинится: вещи, как люди, и люди, как любовь.

(Чинятся: вещи – ремесленниками, люди – врачами, ну а любовь чем? Рублями, пожалуй: подарками, поездками, премьерами. Вместе слушать Скрябина. Вместе всходить на Везувий.

Мало ведь Тристанов и Изольд!)

Тристан и Изольда: любовь в себе. Вне горячителя зависти, ревности: глаз. Вне резонатора порицаний, одобрений: толков. Вне глаз и молвы. Их никто не видел и о них никто не слышал. Они жили в лесу. Волк и волчица. Тристан и Изольда. У них ничего не было. На них ничего не было. Под ними ничего не было. Над ними ничего не было. За ними – ничего, перед ними – Ничто. Ни завтра, ни вчера, ни года, ни часа. Время стояло. Мир назывался лес. Лес назывался куст, куст назывался лист, лист назывался ты. Ты называлось *я*. Небытие в пустоте. Фон – как отсутствие, и отсутствие – как фон.

И – любили.

Все мои жалобы на девятнадцатый год (нет сахара, нет хлеба, нет дров, нет денег) – исключительно из вежливости: чтобы мне, у которой ничего нет, не обидеть тех, у кого все есть. И все жалобы, в моем присутствии, на девятнадцатый год – других («Россия погибла», «Что сделали с русским языком» и пр.) – исключительно из вежливости: чтобы им, у которых ничего не отнято, не обидеть меня, у которой отнято – всё.

Боязнь пространства и боязнь толпы. В основании обеих страх потери. Потери себя через отсутствие людей (пространство) и наличие их (толпа). Можно ли страдать обеими одновременно?

Думаю, что боязнь толпы можно победить исключительно самоутверждением, в девятнадцатом году, напр<<имер>>, выкриком: «Долой большевиков!»

Чтоб тебя отметили – и разорвали.

(NB! Боязнь толпы – боязнь смерти через удушение. Когда рвут – не душат.)

Высокая мера. Мерить высокой мерой. Так и Бог делает. Свысока мерить и высокий мерой. Нечто вроде очень редкого решета: маленькие мерзости, как и маленькие добродетели – проскакивают. Куда? – Dans le néant³⁰. Высокомерие, это полное отсутствие мелочности. Посему – очень выгодное свойство... для других.

О коммунисте:

Вчера, у моей приятельницы:

– Ведь Вы не бреетесь, – сказал коммунист, – зачем Вам пудра?

Коммунист из старых, помирает с голоду. Такой чудесный певучий голос.

Кто-то в комнате: «В Эрмитаже – невероятная программа!»

Коммунист, певуче: «А что такое Эрмита-аж?»

Ах, сила крови! Вспоминаю, что моя мать до конца жизни писала: Thor, Rath³¹, Theodor. – из немецкого патриотизма старины, хотя была русская, и совсем не от старости, потому что умерла 36-ти лет.

– Я с моим *ять*.

Вчера в гостях (именинный пирог, пенье, огарок свечи, рассказ о том, как воюют красные) – вдруг, разглядывая ноты:

Beethoven – Busslied

Puccini – то-то

Marie-Antoinette – «Si tu connais dans ton village...»³²

Marie-Antoinette! Вы написали музыку к стихам Флориана, а Вас посадили в крепость и отрубили Вам голову. И Вашу музыку будут петь другие – счастливые – вечно!

Никогда, никогда, – ни в лукавой полумаске, в боскетах Версаля, об руку с очаровательным mauvais sujet d'Artois³³, ни Королевой Франции, ни Королевой бала, ни молочницей в Трианоне, ни мученицей в Тампле – ни на тачке, наконец, – Вы так не пронзали мне сердца, как:

Marie-Antoinette: «Si tu connais dans ton village...»
(Paroles de Florian)

Людовик XVI должен был бы жениться на Марии-Луизе («Fraiche comme une rose»³⁴ и дуре); Наполеон – на Марии-Антуанэте (просто Розе!).

³⁰ В небытие (*фр.*).

³¹ Thor – ворота, Rath – совет (*нем.*).

³² Мария Антуанетта – «знаешь ли ты, в твоей деревне...» (*фр.*).

³³ Шалопаем д'Артуа (*фр.*).

³⁴ «Свежей, как роза» (*фр.*).

Авантюрист, выигравший Авантюру, – и последний кристалл Рода и Крови.

И Мария-Антуанэтта, как аристократка, следовательно: безукоризненная в каждом *помысле*, не бросила бы его, как собаку, там, на скале.

Москва, 1919

Чердачное (Из московских записей 1919/1920 г.)

Пишу на своем чердаке – кажется 10 ноября – с тех пор, как все живут по-новому, не знаю чисел.

С марта месяца ничего не знаю о С<<ереже>>, в последний раз видела его 18-го января 1918 года, как и где – когда-нибудь скажу, сейчас духу не хватает.

Живу с Алей и Ириной (Але 6 л<<ет>>, Ирине 2 г<<ода>> 7 м<<есяцев>>) в Борисоглебском переулке, против двух деревьев, в чердачной комнате, бывшей Сережиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, «одолженного» соседями – весь запас! – Анархист Шарль унес Сережины золотые часы «élève de Bréguet» – ходила к нему сто раз, сначала обещал вернуть их, потом сказал, что покупателя на часы нашел, но потерял от них ключик, потом, что ключик на Сухаревой подыскал, но покупателя утеряти, потом, что, боясь обыска, отдал их кому-то на хранение, потом, что их – у того, кому он их отдал – украли, но что он богатый господин и за такой мелочью не постоит, потом, обнаглев, начал кричать, что он за чужие вещи не отвечает. – В итоге: ни часов, ни денег. (Сейчас такие часы 12 т<<ысяч>>, т. е. 1 1/2 пуда муки.) То же с детскими весами. (Шарль же.)

Живу даровыми обедами (детскими). Жена сапожника Гранского – худая, темноглазая, с красивым страдальческим лицом – мать пятерых детей – недавно прислала мне через свою старшую девочку карточку на обед (одна из ее девочек уехала в колонию) и «пышечку» для Али. Г<<оспо>>жа Г<<ольд>>ман, соседка снизу, от времени до времени присылает детям супу и сегодня насильно «одолжила» мне третью тысячу. У самой трое детей. Мала, нежна, затерта жизнью: нянькой, детьми, властным мужем, непреложным, как ход светил, распорядком обедов и ужинов. (У нас в доме – еда всегда комета!) Помогает мне, кажется, тайком от мужа, которого, как еврея и удачника, я – у которой все в доме, кроме души, замерзло, и ничего в доме, кроме книг, не уцелело, – естественно не могу не раздражать.

Помогают мне еще, изредка, вспоминая о моем существовании – и не виню, ибо знакомы без году неделя: актриса З<<вягин>>цева, потому что любит стихи, и ее муж, потому что любит жену. Принесли картофеля, муж несколько раз выламывал балки на чердаке и пилил.

Еще Р. С. Т<<умар>>кин, брат г<<оспо>>жи Ц<<ет>>лин, у которой я бывала на литературных вечерах. Дает спички, хлеб. Добр, участлив.

– И это все. —

Бальмонт рад бы, да сам нищий. (Зайдешь, кормит и поит всегда.) Его слова: «я все время чувствую угрызения совести, чувствую, что должен помочь» – уже помощь. Люди не знают, как я безмерно – ценю слова! (Лучше денег, ибо могу платить той же монетой!)

Мой день: встаю – верхнее окно еле сереет – холод – лужи – пыль от пилы – ведра – кувшины – тряпки – везде детские платья и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку, которую варю в самоваре. (Долго варила в нем похлебку, но однажды засорила пшеном так, что потом месяцами приходилось брать воду сверху, снимая крышку, ложкой, – самовар старинный, кран витиеватый, не вывинчивающийся, ни шпилькам, ни гвоздям не поддавался. Наконец кто-то – как-то – вынул.) Самовар ставлю горячими углями, которые выбираю тут же из печки. Хожу и сплю в одном и том же коричневом, однажды безумно-севшем, бумазейном платье, шитом весной 17-го года за глаза, в Александрове. Все прожжено от падающих углей и папирос. Рукава, когда-то на резинке, скручены в трубу и заколоты булавкой.

Потом уборка. – «Аля, вынеси окаренко!» Два слова об окаренке – он их заслуживает. Это главное действующее лицо в нашей жизни. В окаренке стоит самовар, ибо, когда кипит с картошкой, заливает все вокруг. В окаренко сливаются все помои. Окаренко днем выносятся, а по ночам выплескивается мною во двор. Без окаренко – не жить. Угли – мука от пилы – лужи... И упорное желание, чтобы пол был чистым! – За водой к Г<<ольдма>>нам, с чер-

ного хода: боюсь наткнуться на мужа. Прихожу счастливая: целое ведро воды и жестянка! (И ведро и жестянка – чужие, мое все украдено.) Потом стирка, мытье посуды: полоскательница и кустарный кувшинчик без ручки «для детского сада», короче: «Аля, готовь для мытья детский сад!» – чистка медной солдатской махотки и бидона для Пречистенки (усиленное питание, по протекции той же г<<оспо>>жи Г<<ольд>>ман) – корзиночка, где сумка с обеденными карточками – муфта – варежки – ключ от черного хода на шее – иду. Часы не ходят. Не знаю времени. И, набравшись духу, к прохожему: «Извините, не можете ли вы мне сказать, сколько сейчас, приблизительно, времени?» Если 2 часа – от сердца отлегло. (Кстати, как настоящее? Отлегает? Неблагозвучно.)

Маршрут: в детский сад (Молчановка, 34) занести посуду, – Старо-Конюшенным на Пречистенку (за усиленным), оттуда в Пражскую столовую (на карточку от сапожников), из Пражской (советской) к бывшему Генералову – не дают ли хлеб – оттуда опять в детский сад, за обедом, – оттуда – по черной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и жестянками – ни пальца свободного! и еще ужас: не вывалилась ли из корзиночки сумка с карточками?! – по черной лестнице – домой. – Сразу к печке. Угли еще тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды – в одну кастрюльку: суп вроде каши. Едим. (Если Аля была со мной, первым делом отвяжываю Ирину от стула. Стала привязывать ее с тех пор, как она, однажды, в наше с Алей отсутствие, съела из шкафа полкочна сырой капусты.) Кормлю и укладываю Ирину. Спит на синем кресле. Есть кровать, но в дверь не проходит. – Кипячу кофе. Пью. Курю. Пишу. Аля пишет мне письмо или читает. Часа два тишина. Потом Ирина просыпается. Разогреваем остатки месива. Вылавливаю с помощью Али из самовара оставшийся – застрявший в глубине – картофель. Укладываем – или Аля или я – Ирину. Потом Аля спать идет.

В 10 часов день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 11 часов или в 12 часов я тоже в постель. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда – хлебом.

Пишу скверно, тороплюсь. Не записала ни ascensions³⁵ на чердак – лестницы нету (спалили) – подтягиваюсь на веревке – за бревнами, ни *постоянных* ожогов от углей, которые (нетерпение? ожесточение?) хватаю прямо руками, ни беготни по комиссионным магазинам (не продалось ли?) и кооперативам (не выдают ли?).

Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, взрывов радости при малейшей удаче, страстной нацеленности всего существа – все стены исчерканы строчками стихов и NB! для записной книжки. Не записала путешествий по ночам в страшный ледяной низ, – в бывшую Алину детскую – за какой-нибудь книгой, которую вдруг безумно захотелось, не записала постоянной нашей с Алей настороженной надежды: «Не стучат ли? Кажется, стучат!» (Звонок не звонит с начала революции, вместо звонка – молоток. Мы живем наверху, за семью дверьми и слышим все: каждый взвизг чужой пилы, каждый взмах чужого топора, каждое хлопанье чужой двери, каждый шум во дворе, – все, кроме стука в нашу дверь!) И – вдруг – кажется стучат – или Аля, накинув синюю шубку, шитую, когда ей было два года, или я, не накинув ничего – вниз, ощупью, вскачь, в полной темноте, сначала мимо лестницы без перил (спалили), потом по этой лестнице – к цепочке парадной двери. (Кстати, можно войти и без нашей помощи, только не все знают.)

Не записала своей вечной, одной и той же – теми же словами! – молитвы перед сном.

Но жизнь души – Алиной и моей – вырастет из моих стихов – пьес – ее тетрадок.

Я хотела записать *только день*.

Мы с Алей:

Аля:

³⁵ Взлет (*фр.*).

– Марина! Сколько людей с такими прекрасными фамилиями я не знала! Например: Джунковский.

Я: – Это бывший московский генерал-губернатор (?), Алечка.

Аля: – А-а! Я знаю – губернатор. Это в Дон-Кихоте – губернатор!

(Бедный Д<<жунков>>ский!)

Я рассказываю:

– Понимаешь, такая старая, старинная, совсем не смешная. Иссохший цветок, – роза! Огненные глаза, гордая посадка головы, бывшая жестокая красавица. И все осталось, – только вот-вот рассыплется... Розовое платье, пышное и страшное, потому что ей 70 лет, розовый парадный чепец, крохотные туфельки. Под острым каблучком тугая атласная подушка – розовая же – тяжелый, плотный, скрипучий атлас... И вот, под удар полночи – явление жениха ее внучки. Он немножко опоздал. Он элегантен, галантен, строен, – камзол, шпага...

Аля, перебивая:

– О, Марина! – Смерть или Казанова!

(Последнего знает по моим пьесам «Приключение» и «Феникс».)

– Алечка, какое должно быть последнее слово в «Бабушке»³⁶? Ее последнее слово, – вздох, вернее! – с которым она умирает? —

– Конечно – Любовь!

– Верно, верно, совершенно верно, только я подумала: Амур.

Объясняю ей понятие и воплощение:

– Любовь – понятие, Амур – воплощение. Понятие – общее, круглое, воплощение – острое, вверх! все в одной точке. Понимаешь?

– О, Марина, я поняла!

– Тогда скажи мне пример.

– Я боюсь, что это будет неверно. Оба слишком воздушны.

– Ничего, ничего, говори. Если будет неверно, скажу.

– Музыка – понятие, голос – воплощение. (Пауза.) И еще: доблесть – понятие, подвиг – воплощение. – Марина, как странно! Подвиг – понятие, герой – воплощение.

– Аля! Какая прекрасная вещь – сон!

– Да, Марина, – и еще: бал!

– Аля! Моя мать всегда мечтала умереть внезапно: идти по улице и, вдруг, со строящегося дома – камень на голову! – готово.

Аля, чуть позабавленно:

– Нет, Марина, мне это не особенно нравится, камень... Вот если бы – все здание!

Аля, перед сном:

– Марина! Желаю вам всего лучшего, что есть на свете. Может быть: что еще есть на свете...

Если эта зима пройдет, я действительно буду *fort comme la mort*³⁷ – или просто *morte*³⁸ – без *fort*³⁹ – с *e-muet*⁴⁰ на конце.

³⁶ Пьеса, которую я не дописала и потеряла (примеч. М. Цветаевой).

³⁷ Сильна как смерть (фр.).

³⁸ Мертвая (фр.).

Гастрономические магазины сейчас похожи на витрины парикмахерских: все эти сыры – желе – пасхи ничуть не живее восковых кукол.

Та же легкая жуть.

О, «Wahrheit und Dichtung»⁴¹! И останавливаюсь, ибо в этом возгласе столько же восторга, сколько неудовлетворенности. Гёте захотел одновременно дать историю своей жизни и своего развития, и это у него не слилось. Целые места, точно вставленные – «hier gedenke ich mit Ehrfurcht eines gewissen X-Y-Z»⁴² – и так десятки страниц подряд. Если бы он впледел этих «treffliche Gelehrte»⁴³ в свою жизнь, заставил бы их входить в комнату, двигаться, говорить, не получалось бы местами такой схематичности (нарочитости): вот человек вздумал отблагодарить всех, кто способствовал его развитию – и перечисляет. Не скучно, – все значительно, но сам Гёте как-то уходит, уже не видишь его черных глаз...

Но зато – о Господи! – прогулки, мальчиком, по Франкфурту, – дружба с маленьким французом – история с художником и мышью – театр – отношения с отцом – Гретхен («Nicht küssen, s'ist was so gemeines, aber lieben, wenn's möglich ist!»⁴⁴) – их ночные встречи в погребке – Гёте в Лейпциге – уроки танцев – Sesenheim – Фредерика – луна...

О, когда я читала эту сцену с переодеванием, у меня сердце задрожало оттого, что это – Фредерика, а не я!

Уют этого старого полукрестьянского дома – пастор – игры в фанты – чтения вслух...

Я сегодня из-за всего этого никак не могла решиться встать с постели: так не хотелось жить!

О, как бы я воспитала Алю в XVIII веке! Какие туфли с пряжками. Какая фамильная библия с застежками! И какой танцмейстер!

Сейчас, наверное, из-за топора и пилы, куда меньше enfants d'amour⁴⁵! Впрочем, пилит и рубит только интеллигенция (мужики не в счет! им все нипочем!), а интеллигенция и раньше никогда не блистала ни enfants, ни amour.

Недавно на Смоленском: дородная простонародная девка – роскошная шаль крест-накрест, походка бедрами – и маленькая сухонькая приживалка – язва! Сухонький перст впился в высокую грудь девки. Заискивающий шепот: «Что это у вас – свининка?»

И девка, еще глубже запахиваясь в шаль, высокомерно: «Триста восемьдесят».

А сегодня, например, я целый день ела, а могла бы целый день писать. Я совсем не хочу умереть с голоду в 19-ом году, но еще меньше хочу сделаться свиньей.

От природы не терплю запасов. Или съем, или отдам.

А можно, чтобы не было страшно, вообразить себе так: хлеб стоит не 200 руб<<лей>>, а как прежде 2 коп<<ейки>>, но у меня этих двух копеек нет – и никогда не будет.

³⁹ Сильный (фр.).

⁴⁰ Окончание женского рода.

⁴¹ «Поэзия и правда» (нем.).

⁴² Здесь: я с благоговением вспоминаю некоего X-Y-Z (нем.).

⁴³ Превосходных ученых (нем.).

⁴⁴ «Не целоваться – это так пошло, но любить, если возможно!» (нем.).

⁴⁵ Детей любви (фр.).

И царь по-прежнему в Царском Селе – только я никогда не поеду в Царское Село, а он – в Москву.

Господи! Сколько сейчас в России Ноздревых (кто кого и как не ошельмовывает! кто чего на что не выменивает!) – Коробочек («а почему сейчас в городе мертвые души?», «а почему сейчас на рынке дамские манекены?»: я, например) – Маниловых («Храм Дружбы» – «Дом Счастливой Матери») – Чичиковых (природный спекулянт!).

А Гоголя нет. Лучше бы наоборот.

И так же редки – как его? этот с армянской фамилией, -идзе или -адзе, из II части, такой ирреальный, что я даже имени его не запомнила!

Есть рядом с нашей подлой жизнью – другая жизнь: торжественная, нерушимая, непреложная: жизнь Церкви. Те же слова, те же движения, – все, как столетия назад. Вне времени, то есть вне измены.

Мы слишком мало об этом помним.

«Уже не смеется».

(Надпись на моем кресте.)

Я восприняла 19-ый год несколько преувеличенно, – так, как его воспримут люди через сто лет: ни пылинки муки, ни солинок соли (золинок и соринок хоть отбавляй!) – ни крупинки, ни солинки, ни обмылка! – сама чищу трубы, сапоги в два раза больше ноги, – так какой-нибудь романист, с воображением в ущерб вкусу, будет описывать 19-ый год.

Моя комната. – Ведь я когда-нибудь из нее уеду (?). Или я уже никогда, ни-ког-да ничего не увижу другого, раскрыв глаза, чем: высокое окно в потолке – окаренко на полу – по всем стульям тряпки – топор – утюг (утюгом колочу по топору) – г<<ольд>>мановская пила...

Люди, когда приходят, только меня растрavляют: «Так нельзя жить. Это ужасно. Вам нужно все продать и переехать».

Продать! – Легко сказать! – Все мои вещи, когда я их покупала, мне слишком нравились, – поэтому их никто не покупает.

19-ый год, в быту, меня ничему не научил: ни бережению, ни воздержанию.

Хлеб я так же легко беру – ем – отдаю, как если бы он стоил 2 к<<опей>>ки (сейчас 200 руб<<лей>>). А кофе и чай я всегда пила без сахара.

Есть ли сейчас в России – Розанов умер – настоящий созерцатель и наблюдатель, который мог бы написать настоящую книгу о голоде: человек, который хочет есть – человек, который хочет курить – человек, которому холодно – о человеке, у которого есть и который не дает, о человеке, у которого нет и который дает, о прежних щедрых – скарედных, о прежних скупых – щедрых, и, наконец, обо мне: поэте и женщине, одной, одной, одной – как дуб – как волк – как Бог – среди всяческих чум Москвы 19-го года.

Я бы написала – если бы не завиток романтика во мне – не моя близорукость – не вся моя особенность, мешающие мне иногда видеть вещи такими, какие они есть.

– О, если бы я была богата! —

Милый 19-ый год, это ты научил меня этому воплю! Раньше, когда у всех все было, я и то ухитрялась давать, а сейчас, когда ни у кого ничего нет, я ничего не могу дать, кроме души – улыбки – иногда полена дров (от легкомыслия!) – а этого мало.

О, какое поле деятельности, для меня сейчас, для моей ненасытности на любовь. Ведь на эту удочку идут все – даже самые сложные – даже я! Я, например, сейчас определенно люблю только тех, кто мне дает – обещает и не дает – все равно! – хотя бы минуточку – искренно (а может быть и *не* искренно, – наплевать!) *хотел* бы дать.

Фраза, поэтому и весь смысл, по причуде пера и сердца, могла бы пойти иначе, и тоже была бы правда.

Раньше, когда у всех все было, я все-таки ухитрялась давать. Теперь, когда у меня ничего нет, я все-таки ухитряюсь давать.

– Хорошо?

Даю я, как все делаю, из какого-то душевного авантюризма – ради улыбки – своей и чужой.

Что мне нравится в авантюризме? – Слово.

Бальмонт – в женском шотландском крест-накрест платке – в постели – безумный холод, пар колом – рядом блюдце с картошкой, жаренной на кофейной гуще.

– О, это будет позорная страница в истории Москвы! Я не говорю о себе, как о поэте, я говорю о себе, как о труженике. Я перевел Шелли, Кальдерона, Эдгара По... Не сидел ли я с 19-ти лет над словарями, вместо того, чтобы гулять и влюбляться?! – Ведь я в буквальном смысле – голодаю. Дальше остается только голодная смерть! Глупцы думают, что голод – это тело. Нет, голод – душа, тотчас же всей тяжестью падает на душу. Я угнетен, я в тоске, я не могу писать!

Я прошу у него курить. Дает мне трубку и велит мне не развлекаться, пока курю.

– Эта трубка требует большого внимания к себе, поэтому советую вам не разговаривать, ибо спичек в доме нет.

Курю, т. е. тяну изо всей силы, – трубка – как закупоренная – дыму 1/10 доля глоточка – от страха, что потухнет, не только не говорю, но и не думаю – и – через минуту, облегченно:

– Спасибо, накурилась!

Москва, зима 1919 – 1920

О Германии (Выдержки из дневника 1919 г.)

Моя страсть, моя родина, колыбель моей души! Крепость духа, которую принято считать тюрьмой для тел!

Местечко Loschwitz под Дрезденом, мне шестнадцать лет, в семье пастора – курю, стриженные волосы, пятивершковые каблуки (Luftkurort⁴⁶, система д<<окто>>ра Ламана, – все местечко в сандалиях!) – хожу на свидание со статуей кентавра в лесу, не отличаю свеклы от моркови (в семье пастора!) – всех оттолкновений не перечислишь!

Что ж – отталкивала? Нет, любили, нет, терпели, нет, *давали быть*. Было мне там когда-либо кем-либо сделано замечание? Хоть косвенный взгляд один? Хоть умысел?

Это страна свободы. Утверждаю. Страна высшего считания качества с качеством, количества с качеством, личности с личностью, безличности с личностью. Страна, где закон (общегития) не только считается с исключением: благоговеет перед ним. Потому что в каждом конторщике дремлет поэт. Потому что в каждом портном просыпается скрипач. Потому что в каждом пивном льве по зову родины проснется лев настоящий.

Помню, в раннем детстве, на Ривьере, умирающий от туберкулеза восемнадцатилетний немец Рёвер. До восемнадцати лет сидел в Берлине, сначала в школе, потом в конторе. Затхлый, потный, скучный.

Помню, по вечерам, привлеченный своей германской музыкой и моей русской матерью – мать не женски владела роялем! – под своего священного Баха, в темнеющей итальянской комнате, где окна как двери – он учил нас с Асей⁴⁷ бессмертию души.

Кусочек бумаги над керосиновой лампой: бумага съезживается, истлевает, рука придерживающая – отпускает и... – «Die Seele fliegt!»⁴⁸

Улетел кусочек бумаги! В потолок улетел, который, конечно, раздастся, чтобы пропустить душу в небо!

У меня был альбом. Неловко тридцатилетней женщине, матери двух детей, заводить альбом, вот мать и завела нам с Асей – наши. Писало все чахоточное генуэзское побережье. И вот среди Уланда, Тенниссона и Некрасова следующая истина, странная под пером германца:

«Tout passe, tout casse, tout lasse»⁴⁹ ... – с весьма германской – тщательными, чуть ли не в вершок буквами – припиской: – Excepté la satisfaction d'avoir fait son devoir»⁵⁰.

Немец Рейнтардт Рёвер, образцовый конторщик и не менее образцовый умирающий (градусник, тиокол, уход домой при закате) – немец Рейнтардт Рёвер умер на девятнадцатом году жизни, в Нерви, во время Карнавала.

Его уже перевели на частную квартиру (в пансионе нельзя умирать), в верхнюю комнату высокого мрачного дома. Мы с Асей приносили ему первые фиалки, мать – всю музыку своего необычайного существа.

– Wenn Sie einen ansehen, gnädige Frau, klingt's so recht wie Musik⁵¹

⁴⁶ Климатический курорт (нем.).

⁴⁷ Сестрой (примеч. М. Цветаевой).

⁴⁸ «Душа улетает!» (нем.).

⁴⁹ «Все проходит, все рушится, все надоедает...» (фр.).

⁵⁰ «Кроме удовлетворения от выполнения собственного долга» (фр.).

⁵¹ Когда Вы на кого-нибудь смотрите, милостивая госпожа, это звучит как музыка! (нем.)

И вот, разлетаемся однажды с Асей, – фиалки, confetti, полный рот новостей... Дверь настежь.

– Herr Röver!⁵²

И испуганный шип сиделки:

– Zitto, zitto, e morto il Signore!⁵³

Раскрытый рот, через который вылетела душа, хлопотливые крылья косынки над прахом.

Подожли, положили цветы, поцеловали («Только не целуйте! На каждый кубический миллиметр воздуха – миллиарды миазмов», – так нас учили все, не считаясь с тем, что в восемь лет еще не знают ни кубов, ни миллиметров, ни миллиардов, ни миазмов – ничего, кроме поцелуя и воздуха!)

Поцеловали, постояли, пошли. На лестнице – винтовой и звонкой – стало страшно: Рёвер гонится!

Три дня подряд из окна его смертной комнаты вывешивались: матрас, подушка, простыни – в ожидании новых жильцов. Пожитки его (Mahikasten⁵⁴, градусник, несколько смен белья, настольный томик Ленау) были отправлены домой, в контору.

И ничего не осталось от немца Reinhardt'a Röver'a – «excepté la satisfaction d'avoir fait son devoir».

От моего Рёвера до мирового Новалиса – один вздох. «Die Seele fliegt» – больше ведь не сказал и Новалис. Большого никто никогда не сказал. Здесь и Платон, и гр<аф> Аугуст фон Платен, здесь все и вся, и *кроме нет ничего*.

Так, из детской забавы и альбомной надписи, из двух слов: душа и долг – Душа есть долг. Долг души – полет. Долг есть душа полета (лечу, потому что должен)... Словом, так или иначе: *die Seele fliegt!*

«Ausflug». Вы только вслушайтесь: вылет *из...* (города, комнаты, тела, родительный падеж). Ежевоскресный вылет *ins Grüne*⁵⁵, ежечасный – *ins Blaue*⁵⁶. Aether, heilige Luft!⁵⁷

Я, может быть, дикость скажу, но для меня Германия – продолженная Греция, древняя, юная. Германцы унаследовали. И, не зная греческого, ни из чьих рук, ни из чьих уст, кроме германских, того нектара, той амброзии не приму.

О мальчиках. Помню, в Германии – я еще была подростком – в маленьком местечке Weisser Hirsch⁵⁸, под Дрезденом, куда отец нас с Асей послал учиться хозяйству у пастора, – один пятнадцатилетний, неприятно-дерзкий и неприятно-робкий, розовый мальчик как-то глядел мои книги. Видит «Zwischenden den Rassen»⁵⁹ Генриха Манна, с моей рукой начертанным эпиграфом:

«Blonde enfant qui deviendra femme,
Pauvre ange qui perdra son ciel».

(Lamartine)⁶⁰

⁵² Господин Рёвер! (нем.).

⁵³ Тише, тише, синьор умер! (ит.).

⁵⁴ Коробка для съестного (нем.).

⁵⁵ На природу (нем.).

⁵⁶ В синь, голубизну (нем.).

⁵⁷ Эфир, священный воздух! (нем.).

⁵⁸ Вайсер Хирш (Белый олень) (нем.).

⁵⁹ «Между расами» (нем.).

⁶⁰ «Светлая девочка, которая станет женщиной, Бедный ангел, который покинет свое небо». (Ламартин) (фр.).

– Ist's wirklich Ihre Meinung?⁶¹

И моя реплика:

– Ja, wenn's durch einen, wie Sie geschieht!⁶²

А Асю один другой мальчик, тоже розовый и белокурый, но уж сплошь-робкий и приятно-робкий, – маленький commis, умильный тринадцатилетний Christian – торжественно вел за руку, как свою невесту. Он, может – даже наверное! – не думал об этом, но этот жест, выработанный десятками поколений (приказчиков!) был у него в *руке*.

А другой – темноволосый и светлоглазый Hellmuth, которого мы, вместе с другими мальчиками (мы с Асей были «взрослые», «богатые» и «свободные», а они Schulbuben⁶³, которых в 9 ч. гнали в постель) учили курить по ночам и угощали пирожными, и который на прощанье так весело написал Асе в альбом: «Die Erde ist rund und wir sind jung, – wir werden uns wiedersehen!»⁶⁴

А лицеистик Володя, – такой другой, – но так же восторженно измерявший вышину наших каблучков – здесь, в святилище д<окто>ра Ламана, где и рождаются в сандалиях!

Hellmuth, Christian, лицеистик Володя! – кто из вас уцелел за 1914 – 1917 год!

Ах, сила крови! Вспоминаю, что мать до конца дней писала: Thor, Rath⁶⁵, Theodor – из германского патриотизма старины, хотя была русская, и совсем не от старости, потому что умерла 34-х лет.

– Я с моим *ять!*

От матери я унаследовала Музыку, Романтизм и Германию. Просто – Музыку. Всю себя.

Музыку я определенно чувствую Германией (как любовь – Францией, тоску – Россией), Есть такая страна – музыка, жители – германцы.

Персияночка Разина и Ундина. Обоих любили, обоих бросили. Смерть водою. Сон Разина (в моих стихах) и сон Рыцаря (у Lamotte-Fouqué и у Жуковского).

И оба: и Разин и Рыцарь должны были погибнуть от любимой, – только Персияночка приходит со всем коварством Нелюбящей и Персии – «за башмачком», а Ундина со всей преданностью Любящей и Германии – за поцелуем.

Treue⁶⁶ – как это звучит!

А французы из своей fidélité⁶⁷ сумели сделать только Fidele (Фидельку!).

Есть у Гейне пророчество о нашей революции: «...und ich sage euch, es wird einmal ein Winter kommen, wo der ganze Schnee im Norden Blut sein wird...»⁶⁸

У Гейне, вообще, любопытно о России. О демократичности нации. О Петре – державном революционере (Венчаной Революции).

⁶¹ Вы в самом деле так думаете? (нем.).

⁶² Да, если это совершается благодаря такому, как вы! (нем.).

⁶³ Школяры (нем.).

⁶⁴ «Земля круглая, а мы молоды, – еще увидимся!» (нем.).

⁶⁵ Старое правописание, th. Теперь: Thor, Rat – ворота, совет (нем.).

⁶⁶ Преданность (нем.).

⁶⁷ Преданности (фр.).

⁶⁸ «...И я говорю вам – когда-нибудь наступит зима, И весь снег на севере превратится в кровь...» (нем.).

– Гейне! – Книгу, которую я бы написала. И – без архивов, вне роскоши личного проникновения, просто – с глазу на глаз с шестью томами ужаснейшего немецкого издания конца восьмидесятых годов. (Иллюстрированные стихи! И так как Гейне – часто о женщинах, – сплошные колбасы!)

Гейне всегда покрывает всякое событие моей жизни, и не потому что я... (событие, жизнь) слабы: он – силен!

Столкнуться – и, не извинившись, разойтись – какая грубость в этом жесте! Вспоминаю Гейне, который, приехав в Париж, нарочно старался, чтобы его толкнули – чтобы только услышать извинение.

В Гейне Германия и Рومания соцарствуют. Только одного такого еще знаю – иной строй, иная тема души, иной масштаб – но в двуродности своей Гейне – равного: Ромена Роллана.

Но Ромен Роллан, по слухам, галло-германец, Гейне – как все знают – еврей. И чудо объяснимо. Я бы хотела необъяснимого (настоящего) чуда: француз целиком и любит (чувствует) Германию, как германец, германец целиком и любит (чувствует) Францию, как француз. Я не о стилизациях говорю – легки, скучны – о пробитых тупиках и раздвинутых границах рождения и крови. Об органическом (национальном) творении, не связанном с зоологией. Словом, чтобы галл создал новую Песнь о Нибелунгах, а германец – новую песнь о Роланде.

Это не «*может*» быть, это должно быть.

Die blinde Mathilde⁶⁹ – воспоминание детства. Во Фрейбурге, в пансионе, к нам каждое воскресенье приходила женщина – die blinde Mathilde. Она ходила в синем сатиновом платье – лет сорок пять – полузакрытые голубые глаза – желтое лицо. Каждая девочка, по очереди, должна была писать ей письма и наклеивать, на свои деньги, марки. Когда письма кончались, она в благодарность садилась за рояль и пела.

Немецким девочкам: «Ich kenn ein Kätzlein wunderschön»⁷⁰

Нам с Асей: «Der rothe Sarafan»⁷¹.

Теперь вопрос: кому blinde Mathilde столько писала? Ответивший на вопрос напишет роман.

Как я любила – с тоской любила! до безумия любила! – Шварцвальд. Золотистые долины, гулкие, грозно-уютные леса – не говорю уже о деревне, с надписями, на харчевенных щитах: «Zum Adler», «Zum Löwen»⁷². (Если бы у меня была харчевня, я бы ее назвала: «Zum Kukuck»⁷³).

Никогда не забуду голоса, каким хозяин маленького Gasthaus «Zum Engel»⁷⁴ в маленьком Шварцвальде, указывая на единственный в зале портрет императора Наполеона, восклицал:

– Das war ein Kerl!⁷⁵

И после явствующей полное удовлетворение паузы:

– Der hat's der Welt auf die Wand gemahlt, was *wollen* heisst!⁷⁶

⁶⁹ Слепая Матильда (нем.).

⁷⁰ «Я знаю одну прелестную кошечку» (нем.).

⁷¹ «Красный сарафан» (нем.).

⁷² «У орла», «У льва» (нем.).

⁷³ «У черта» (нем.).

⁷⁴ Гостиница «У ангела» (нем.).

⁷⁵ Вот это был парень! (нем.).

⁷⁶ Он всему миру показал, что значит хотеть! (нем.).

После Эккермана могу читать только «Mémorial de Sainté-Hélène» Ласказа – и если я кому-нибудь завидовала в жизни – то только Эккерману и Ласказу.

Странно. Здесь апогей счастья, там апогей несчастья, и от обеих книг одинаковая грусть – точно Гёте был тоже *сослан* в Веймар!

О, Наполеон уже для Гёте (1829 г.) был легендой!
О, Наполеон уже для Наполеона (1815 г.) был легендой!

Гёте, умиляющийся над вывернутым наизнанку зеленым мундиром Наполеона.

В Гёте мне мешает «Farbenlehre»⁷⁷, в Наполеоне – все его походы.
(*Ревность*)

Иду недавно по Кузнецкому и вдруг, на вывеске: «Farbenlehre». Я обмерла.
Подхожу ближе: «Fabergé»⁷⁸.

Во мне много душ. Но главная моя душа – германская. Во мне много рек, но главная моя река – Рейн. Вид готических букв сразу ставит меня на башню: на самый высший зубец! (Не буквы, а зубцы. Zacken⁷⁹ – какое великолепие!) В германском гимне я растворяюсь.

Lieb Vaterland, magst ruhig sein⁸⁰.

Вы только прислушайтесь к этому magst, – точно лев – львенку! Ведь это сам Рейн говорит: Vater Rhein!⁸¹ Как же тут не быть спокойным?!

Когда меня спрашивают: кто ваш любимый поэт, я захлебываюсь, потом сразу выбрасываю десяток германских имен. Мне, чтобы ответить сразу, надо десять ртов, чтобы хором, единовременно. Местничество поэтов в сердцах куда жесточе придворного. Каждый хочет быть первым, потому что есть первый, каждый хочет быть единым, потому что нет второго. Гейне ревнует меня к Платену, Платен к Гёльдерлину, Гёльдерлин к Гёте, только Гёте ни к кому не ревнует: Бог!

- Что вы любите в Германии?
- Гёте и Рейн.
- Ну, а современную Германию?
- Страстно.
- Как, несмотря на...
- Не только не смотря – *не видя!*
- Вы слепы?
- Зряча.
- Вы глухи?
- Абсолютный слух.

⁷⁷ «Наука о цвете» (нем.).

⁷⁸ «Фаберже» (фр.).

⁷⁹ Зубцы (нем.).

⁸⁰ «Люби отечество и можешь быть спокойным» (нем.).

⁸¹ Рейн – батюшка! (нем.).

- Что же вы видите?
- Гётевский лоб над тысячелетиями.
- Что же вы слышите?
- Рокот Рейна сквозь тысячелетия.
- Но это вы о прошлом!
- О будущем!

Гёте и Рейн еще не *свершились*. Точнее сказать не могу.

Франция для меня легка. Россия – тяжела. Германия – по мне. Германия – дерево, дуб, heilige Eiche⁸² (Гёте! Зевес!). Германия – точная оболочка моего духа. Германия – моя плоть: ее реки (Ströme!) – мои руки, ее рощи (Heine!) – мои волосы, она вся моя, и я вся – ее!

Edelstein. – В Германии я бы любила бриллиант. (Edelstein, Edeltrucht, Edelmann, Edelwein, Edelmuth, Edelblut⁸³...)

А еще: Leichtblut. Легкая кровь. Не легкомыслие, а легкокровие. А еще: Uebermuth: сверх-сила, избыток, через-край. Leichtblut и Uebermuth – как это меня дает, вне подозрительного «легкомыслия», вне тяжеловесного «избытка жизненных сил».

Leichtblut и Uebermuth – не все ли *те* боги? (Единственные.)

И, главное, это ничего не исключает, ни жертвы, ни гибели, – только: легкая жертва, летящая гибель!

А Gottesjüngling!⁸⁴ Не весь ли Феб встает в хороводе своих любимцев!

А Urkraft⁸⁵, – Не весь ли просыпающийся Хаос! Эта приставка: Ur! Urquelle, Urkunde, Urzeit, Urnacht⁸⁶

Urahn, Ahne, Mutter und Kind
In dumpfer Stube beisammen sind...⁸⁷

Ведь это вечность воет! Волком, в печной трубе. Каждая такая Urahn – Парка.

Drache и Rache⁸⁸ – и все «Nibelungenlied»⁸⁹!

«Германия – страна чудаков» – «Land der Sonderlinge». Так бы я назвала книгу, которую я бы о ней написала (по-немецки). Sonderlich. Wunderlich⁹⁰. Sonder и Wunder в родстве. Больше: вне Sonder нет Wunder, вне Wunder – нет Sonder.

О, я их видела: Naturmenschen⁹¹ с шевелюрами краснокожих, пасторов, помешавшихся на Дионисе, пасторш, помешавшихся на хиромантии, почтенных старушек, ежевечерне, после

⁸² Священный дуб (нем.).

⁸³ Драгоценный камень, дивный плод, аристократ, живительная влага, великодушие, благородная кровь... (нем.).

⁸⁴ Юный бог! (нем.).

⁸⁵ Первобытная сила (нем.).

⁸⁶ Первобытный источник, древний акт, древние времена, древняя ночь (нем.).

⁸⁷ Прародитель, предок, мать и дитя В глухом пространстве объединены... (нем.).

⁸⁸ Дракон и Месть (нем.).

⁸⁹ «Песнь о Нибелунгах» (нем.).

⁹⁰ Особенно. Удивительно (нем.).

⁹¹ Людей природы (нем.).

ужина, совещающихся с умершим «другом» (мужем) – и других старушек – Märchenfrau, сказочниц по призванию и ремеслу, ремесленниц сказки. Сказка, как ремесло, и как ремесло *кормящее*. – Оцените страну.

О, я их видела! Я их знаю! Другому кому-нибудь о здравомыслии и скуке немцев! Это страна сумасшедших, с ума шедших на высшем разуме – духе.

«Немцы-мещане»... Нет, немцы – граждане: Bürger. От Burg: крепость. Немцы – крепостные Духа.

Мещанин, гражданин, bourgeois, citoyen⁹², у немцев же – неделимо – Bürger. Для выявления же понятий мещанства, буржуазности – приставка klein: klein-bürgerlich⁹³.

Может ли не быть отдельного слова для основной черты нации? Задуматься.

Мое вечное schwärmen⁹⁴. В Германии это в порядке вещей, в Германии я вся в порядке вещей, белая ворона среди белых. В Германии я рядовой, *любой*.

Притеснен в Германии только притесняющий, т. е. распространяющийся – внешне – за указанный ему предел, пространственный ли, временной ли. Так, например, играя в своей комнате на флейте позже 10 часов, я распространяюсь за предел временной, установленный общежитием, и этим тесню соседа, в самом точном смысле стесняю (укорачиваю) его сон. – Умей играть молча! —

Мне, до какой-то страсти равнодушной к внешнему, в Германии просторно.

В Германии меня прельщает упорядоченность (т. е. упрощенность) внешней жизни, – то, чего нет и никогда не было в России. Быт они скрутили в бараний рог – тем, что всецело ему подчинились.

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
Und das Gesetz nuz kann uns Freiheit geben⁹⁵.

Ни один немец не живет в этой жизни, но тело его исполнительно. Исполнительность немецких тел вы принимаете за рабство германских душ! Нет души свободней, души мятежней, души высокомерней! Они русским братья, но они мудрее (старше?) нас. Борьба с рыночной площадью быта перенесена всецело на высоты духа. Им здесь ничего не нужно. Отсюда покорность. Ограничение себя *здесь* для безмерного владычества *там*. У них нет баррикад, но у них философские системы, взрывающие мир, и поэмы, его заново творящие.

Сумасшедший поэт Гёльдерлин тридцать лет подряд упражняется на немом клавишине. Духовидец Новалис до конца своих дней сидит за решеткой банка. Ни Гёльдерлин своей тюрьмой, ни Новалис своей – не тяготеют. Они ее не замечают. Они свободны.

Германия – тиски для тел и Елисейские поля – для душ. Мне, при моей безмерности, нужны тиски.

– Ну, а как с войной?

– А с войной – так: не Александр Блок – с Райнером Марией Рильке, а пулемет с пулеметом. Не Александр Скрябин – с Рихардом Вагнером, а дредноут с дредноутом. Был бы убит

⁹² Буржуа, гражданин (*фр.*).

⁹³ Маленький: мещанский (*нем.*).

⁹⁴ Увлечаться, мечтать (*нем.*).

⁹⁵ В самоограничении познается лишь мастер, И лишь закон дает нам свободу (*нем.*).

Блок – оплакивала бы Блока (лучшую Россию), был бы убит Рильке – оплакивала бы Рильке (лучшую Германию), и никакая победа, наша ли, их ли, не утешила бы.

В национальной войне я *ничего* не чувствую, в гражданской – *всё*.

– Ну, а как с немецкими зверствами?

– Но я говорила о качественной Германии, не о количественной. Качество, порождаемое количеством – вот зверство. Человек наедине не зверь (не от чего и не с кем). Зверство начинается с Каина и Авеля, Ромула и Рема, т. е. с цифры два. От сей роковой цифры первого общежития до числа двузначного и дальше – катастрофическое нарастание зверства, с каждой единицей утысячающегося. (Вспомните детство и школу.)

Короче: если «*pour aimer il faut être deux*»⁹⁶, то тем более – *pous tuer*⁹⁷. (Адам мог любить просто солнце, Каину, для убийства, нужен был Абель.)

Для любви достаточно одного, для убийства нужен второй. Когда людей, скучивая, лишают лика, они делаются сначала стадом, потом сворой.

Погодите, будет час, так же будете оплакивать героическую Германию, как ныне героическую разоренную Францию. Нынче – Реймский собор, завтра – Кельнский: *высоты мешают веку!* Это не ненависть германцев к галлам, галлов к германцам, это ненависть квадрата – к шпилью, плоскости – к острию, горизонтали – к вертикали.

Реймский собор для меня больше рана, чем для вас: в нем *свершилась* моя Иоанна! – и, оплакивая его, оплакиваю больше, чем вы: не Иоанну, не Францию, – век костров, смененный веком железобетона!

«Немцы подарили нам большевиков». «Немцы подарили нам пломбированного Ленина»...

В дипломатических подарках не знаток, но, если это даже правда, – руку на сердце положи – будь мы на их месте и додумайся мы, – мы бы этого не сделали?

Вагон, везущий Ленина, – не тот же ли троянский конь?

Политика – заведомо мерзость, нечего от нее, кроме них, и ждать. С этикой – в политику!

А германская ли мерзость, российская ли – не различаю. Да никто и не различит. Как Интернационал – зло, так и Зло – интернационал.

Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine
Mais notre coeur, vous ne l'aurez jamais
Vous avez cru germaniser la plaine,
Mais malgré vous nous resterons français...⁹⁸

Под это я росла. (Престарелые гувернантки-француженки.) И это во мне так же свято, как «*Wacht am Rhein*»⁹⁹. И это во мне не спорит. Великое согласие высот.

Страсть к каждой стране, как к единственной – вот мой Интернационал. Не третий, а вечный.

Москва, 1919

⁹⁶ «Для любви надо иметь двоих» (фр.).

⁹⁷ Чтобы убить (фр.).

⁹⁸ Вы захватили Эльзас и Лотарингию, Но сердец наших не завоюете никогда. Вы надеялись сделать нашу землю германской, Вопреки вам она останется французской... (фр.).

⁹⁹ «Стража на Рейне» (нем.).

Дом у Старого Пимена

Вере Муромцевой, одних со мной корней

I

Дедушка Иловайский

Не собирательный дедушка, как «дедушка Крылов» или «дедушка Андерсен», а самый достоверный, только не родной а сводный.

«Мама, почему у Андрюши два дедушки, а у нас только один?» Помню вопрос, ответа не помню, да его, наверное, и не было, ибо не могла же мать ответить правду, а именно: «Потому что мой отец, ваш дедушка, Александр Данилович Мейн, как человек великодушный и справедливый, не может не любить, по крайней мере, не одаривать и не ласкать, чужого внука наравне с родными внуками, а Андрюшин дедушка, как человек черствый и очень уж старый, насилу и единственного своего внука может любить». Так и оказалось у Андрюши «два дедушки», а у нас с Асей – один.

Наш дедушка лучше. Наш привозит бананы – и всем. Дедушка Иловайский – только золотые – и только Андрюше – прямо в руку – даже как-то мимо руки – ничего не говоря и даже не глядя – и только в день рождения или на Рождество. Мама эти золотые у Андрюши сразу отбирает. «Августа Ивановна, вымойте Андрюше руки!» – «Но монет софсем нифенький!» – «Нет чистых денег». (Так это у нас, детей, и осталось: деньги – грязь.) Так что дедушкин подарок Андрюше не только не радость, а даже гадость: лишний раз мыть руки и без того уже *замывишей* немкой. Золотой же проваливается в отдельную «иловайскую» копилку, и никто о нем не вспоминает до очередного золотого. (В один прекрасный день вся копилка со всеми, за десять лет, иловайскими золотыми исчезла, и если кто-нибудь о ней жалел – то не Андрюша. Золото для нас сызмалу было не только грязь, но пустой звук.)

Наш дедушка заезжает за нами на своих лошадях и увозит в Петровское-Разумовское, Андрюшин дедушка никого не увозит, потому что сам никогда не ездит, а всегда ходит пешком. Оттого он и дожил до такой старости, говорят старшие. Наш дедушка привозит нам из-за границы заводные игрушки, например, Андрюше в последний раз из Карлсбада игрушечного мальчика, который лезет по стене. При дедушке же Иловайском и сам живой мальчик Андрюша пошевелинуться не может, точно сразу сломался завод. После каждого его посещения наш старый трехпрудный дом всеми своими ходами и переходами шипит и шепчет: «Мильонщик» (няня) – «Millionär» (балтийка-бонна), вместе же: «Шушушу – Androuscha – Андрюшечка – *reicher Erbe*¹⁰⁰ – наследник...» Эти слова для нас, семилетнего, четырехлетней и двухлетней, не имеют никакого смысла и остаются чистой магией, как сам дедушка Иловайский на венском стуле, посреди залы, чаще даже не сняв своей большой, до полу, шубы – холод трехпрудного низа он знал, ибо это был *его* дом, им данный в приданое дочери Варваре Димитриевне, когда выходила замуж за моего отца. Дальше залы дедушка Иловайский никогда не шел и на круглом зеленом зальном диване никогда не сидел, всегда на голом стуле посреди голого паркета, точно на острове. Тыча в воздух на подошедшую и приседающую девочку: «Это кто же – Марина или Ася?» – «Ася». – «А-а-а». Ни одобрения, ни удивления, ни даже осознания. Ничего. Но зато и мы от него ничего не чувствовали – даже страха. Мы *знали*, что он нас не видит. Двухлетняя, четырехлетняя и семилетний знали, что нас для него *нет*. И рассматривали

¹⁰⁰ Богатый наследник (нем.).

его совершенно так же свободно и спокойно, как памятник Пушкина на Тверском бульваре. Единственное его на нас действие, – как, впрочем, всякого памятника – в комнате, был некий постепенный безболезненный, глубокий столбняк, отпускавший нас только со скрипом парадного. Если бы дедушка Иловайский никогда не ушел – мы бы никогда не двинулись.

Весной на сцену нашего зеленого тополиного трехпрудного двора выкатывались кованые иловайские сундуки, приданое умершей Андрюшиной матери, красавицы Варвары Димитриевны, первой любви, вечной любви, вечной тоски моего отца.

Красный туфелек (так мы говорили в детстве), с каблучком высотой в длину ступни («Ну уж и ножки их были крошки!» – ахает горничная Маша), – скат черного кружева – белая шаль, бахромой метущая землю – красный коралловый гребень. Таких вещей мы у *нашей* матери, Марии Александровны Мейн, не видали никогда. Еще кораллы: в семь рядов ожерелье. (Мать – двухлетней Асе: «Скажи, Ася, коралловое ожерелье!») Хорошо бы потрогать руками. Но трогать – нельзя. А эти красные груши – в уши. А это, с красным огнем и даже вином внутри – гранаты. («Скажи, Ася, гранатовый браслет». – «Бра-слет».) А вот брошка коралловая – роза. Кораллы – Neapel, гранаты – Vohemen. Гранаты – едят. А это – странное слово – блонды. От какой-то прабабки – мамы – румынки. Никакого смысла, чистейшая магия. («Говорят, актрисы были, на театре пели... – шепчет Маша нашей балтийке-бонне. – Говорят, наш барин очень без них тосковали». – «Думхейтен»¹⁰¹, – басом отрезает балтийка, блюдущая честь дома, – просто богатая дочь богатый отец. А пела, как птиц, для свое удовольствия».) Жаркий, жгучего бархата, костюм мальчика. Мальчик, которого так одевают, называется паж. (И черный шнурок с змеиной головой, которым подбирают юбку, – паж.) А этот длинный нож называется шпага. Фаи, муары, фермуары. Ларчики, футлярчики... То, как все это пахнет, – пачули. Андрюша, убедившийся, что второго ножа не будет, носится вокруг на «штекенпферде»¹⁰². Я, робко, матери: «Мама, как... красиво!» – «Не нахожу. А беречь нужно, потому что это Лёрино приданое». – «А какой снег серебряный!» – «Это нафталин. Чтобы не съела моль». Нафталин, моль, приданое, пачули – никакого смысла, чистейшая магия.

Позже на нашем зеленом тополином дворе появился остов велосипеда. Говорю – остов, потому что, подрастая, сразу опознала его в первом же из тех животных, непомерно высоких, с непомерно высокими шеями и далекими от земли ногами, существующих только в виде остова, да и то на картинках (как и такие велосипеды). «Доисторический велосипед историка!» – хохочет и даже грохочет свободомыслящий студент Гуляев, готовящий Андрюшу в приготовительный класс Седьмой гимназии, а сестру Лёру, под шумок, себе в невесты. Это была первая модель велосипеда, подаренная, вернее оставленная (проще – отставленная!) нещедрым дедом доросшему до науки внуку. Себе же дедушка купил новый. Самое трудное и даже несбыточное для девятилетнего мальчика было на этот велосипед – сесть. Второе – на нем поехать: нога на аршин не доставала до педали. Единственное доступное было на нем сидеть, ибо скелет был трехколесный, непреложноустойчивый и усидчивый. Велосипед с Андрюшей возил по двору дворник Матвей. Нас с Асей на заветное иловайское сидение не пускали никогда. Но мы и не мечтали. Все иловайское в нашем доме, от бирюлек институтки Валерии до Андрюшиного ихтиозавра, для нас, только-Цветаевых, было табу. Это был дом молчаливых запретов и заветов. Позже в нашем доме появилось *такое же* ружье. И *такая же* подозрительная труба. Можно сказать, что дед из своих вещей вырастал, как ребенок из обуви, только в обратной пропорции: большее сменяя на меньшее. Впрочем – велосипед, ружье, труба оказались его единственным наследством внуку. Остальное (миллионы – в кавычках или без кавычек) унаследовала Революция.

¹⁰¹ Глупости (нем.).

¹⁰² Деревянной лошадке на палочке (нем.).

Иловайский жил на Малой Димитровке, в переулке у Старого Пимена. В доме Иловайских мы с Асей никогда не были, только о нем слышали. Отец – матери: «Ты уже целый месяц не была, пятая пятница, пойми же: обида! – пересиль себя, голубка, – нужно...» – «Значит, опять засесть в угловой и целый вечер проиграть в винт!» А в винт играют – так: стоит посреди комнаты стол на винту, вокруг сидят гости и вертят, кто перевертел – выиграл. Это еще называется «вертеть столы», и этим-то и занимаются институтка Лёра с молодыми Иловайскими, запершись от нас на ключ. Скучная игра и даже страшная, потому что, по словам матери, до полуночи ни с места встать, ни перестать нельзя: в дверях угловой дедушка Иловайский, который не пускает. Позже, когда я поняла, что винт – карты, помню такое слово матери: «Wenn die Menschen keine Gedanken zum Austausch haben, tauschen sie Karten aus»¹⁰³, а еще позже *узнала* эти слова у Шопенгауэра. «Что делать, голубка, людей не переделаешь, а обижать не надо...» – вздыхал отец, сам глубоко равнодушный ко всякому столу, кроме письменного.

Андрюша у Иловайских бывать не любит. Сверстников у него там нет, и он сразу попадает в когти второй жены дедушки, Александры Александровны, которую так и зовет по имени-отчеству. А.А. (рожденная Коврайская) на тридцать лет моложе деда и, как взрослые говорят, до сих пор красавица, а по-нашему – наоборот, потому что лицо у нее злое, нос с какими-то зашипынутыми ноздрями и такой же, сквозь зашипынутые ноздри, голос. А «родинки» – родинки просто пятна, точно шоколад ела и над губой не вытерла. Ходит она всегда в «курицыном», то есть в черную с белым, коричневую с белым, серую с белым, мелкую клеточку, от которой, если долго смотреть, в глазах рябит, а смотреть приходится долго, тупя глаза под ее – обратным *его* голубому невидящему – всевидящим черным глазом в ее же рябой подол. Вся стянутая, подтянутая, как взрослые говорят: «tirée a quatre épingles»¹⁰⁴, и все время «пускает шпильки», которые, в соединении с «quatre épingles», превращают ее для нас в какую-то подушку для иголок.

Но дети у А.А. – чудные. Их трое: кареокая Надя, черноокий Сережа и очень хорошенькая, толстая Оля с глазами, которые у нас в доме зовутся «незабудки».

Димитрий Иванович Иловайский был женат два раза. Первая жена и все трое детей от первого брака умерли. Помню в семейном альбоме чудесные лица этих мальчиков. (Красота в этой семье цвела!) Последней из первой семьи умерла уже упомянутая красавица В.Д. Но смерть не остановилась. В 1904 году и красавица Надя и красавец Сережа (двадцать два года, двадцать лет) один за другим протянулись на столе у Старого Пимена. Последняя же дочь, Оля, для Иловайского – хуже, чем умерла: бежала к человеку еврейского происхождения в Сибирь, где с ним и обвенчалась.

1906 год. Мы с Асей, после долгой заграницы, потеряв мать, отвыкшие и выросшие, вернулись в наш трехпрудный дом. Большая зала, в которой за наше отсутствие прибавился только цветной поясной портрет Андрюшиной матери (портрет – роковой в жизни *нашей*), посреди залы венский стул, на голом стуле, под карим прекрасным взглядом покойницы, в волнах своей черной шубы, посреди голого пола, как посреди голого поля, – дедушка Иловайский. Вытянутый перст, оловянный невидящий взгляд: «Это которая же: Ася, или?..» – «Марина». – «А-а-а...» И не узнавал он нас не потому, что он нас столько-то лет не видел, а потому, что он нас вообще никогда ни разу не увидел, то есть лица с именем не связал, а не связал потому, что ему было все равно. Вопрос же об имени (которая – кто) был чистейшей функцией историка: *mettre les noms sur les figures*¹⁰⁵ – тут же забываемые – по неисторичности. До «исторических» же дат, – то есть наших с Асей возрастов, у Иловайского никогда не дошло. Пять лет, пятна-

¹⁰³ Когда людям нечего сказать друг другу, они играют в карты (*нем.*).

¹⁰⁴ Букв.: натянута на четырех булавах (*фр.*).

¹⁰⁵ Называть вещи своими именами (*фр.*).

дцать ли лет стоящей перед ним Марине – какое ему дело, когда она не Мнишек, а самому восемьдесят с лишком – зим!

– Странный у деда дом, – рассказывает брат Андрей, живший все эти годы у Иловайских, – топят снизу и всегда ночью, босиком – ступить невозможно, танцуешь, как в аду! А сам дед спит на чердаке, в самый мороз с открытой форткой, – и Надю с Сережей заставлял, может быть, оттого они и умерли. И ничего не ест, за целый день три черносливины и две миски толокна. И всю ночь не спит – и ей не дает – либо пишет, либо ходит, как раз над моей головой – все взад и вперед, взад и вперед. Перестал – значит, пишет. Я в гимназию – он спать, прихожу завтракать – уж опять пишет. И чего это он все пишет? Доведу, говорит, до последних дней. До каких это последних, когда *сегодня*, например, уж, кажется, *последний*? а завтра – опять последний!... Так ведь никогда-не-кончить можно... А – здоров!!! До сих пор верхом ездит, а как в рог трубит – уши лопаются! Сам не спит, а других укладывает. Пока еще Надя с Сережей живы были, придет молодежь, гадают или играют во что-нибудь – ровно в десять часов, в самый бой, на пороге – дед в халате. Подойдет и дунет на свечу, потом на другую, так на все подряд, пока не останется одна. Эту – оставит. И уйдет, ни слова не сказав. Значит, гостям домой пора. Ну, а гости пошумят, пошумят в передней калошами, чтоб знал, что ушли, а когда уйдет к себе на чердак – опять возвращаются, и уж тогда пир горой, только потихонечку...

Один вопрос нам с Асей, впрочем, прибавился, даже целых два. «В гимназии учишься?» – «Да». – «По какому учебнику?» – «По Виноградову». (Вариант: Випперу.) Недовольное: «Гмм...» Но Иловайский мне на экзаменах послужил, и не раз. Однажды, раскрыв его учебник, я попала глазами на следующее, внизу страницы, булавочным шрифтом, примечание: «Митридат в Понтийских болотах потерял семь слонов и один глаз». Глаз – понравился. Потерянный, а – остался! Утверждаю, что этот глаз – художественен! Ибо что же все художество, как не нахождение потерянных вещей, не увековечение – утрат?

Стала читать дальше, – и раньше, и после, и древнюю, и среднюю, и новую, и вскоре убедилась, что всё, что он пишет – вижу, что у него всё – *глаз*, тогда как неизбывная «борьба классов» наших Потоцких, Алферовских и т.д. либеральных гимназий – совсем без глаз, без лиц, только кучи народа – и все дерутся. Что тут *живые* лица, живые цари и царицы – и не только цари: и монахи, и пройдохи, и разбойники!.. «Вы отлично подготовлены. По каким источникам вы готовились?» – «По Иловайскому». Либеральный педагог, ушам не веря: «Как? Но ведь его учебники совершенно устарели! (Пауза, наполненная всяческими размышлениями). Во всяком случае, вы прекрасно осведомлены. И, несмотря на некоторую односторонность освещения, я вам ставлю...» – «Пять», – мысленно подсказываю я. Эту шутку я повторяла в каждой гимназии, куда поступала, а поступала я постоянно. Так, столь ненавистный стольким школьным поколениям «Иловайский» – источник не одной моей, школьницы либеральных времен, пятерки.

Вторым вопросом нам с Асей Иловайского было: «Мой „Кремль“ читала?» – «Да». – «А что я в нем пишу?» – «Про евреев». – «А что я в нем пишу про жидов?» – «Вы их не любите». (Призрак усмешки и, с непередаваемым наполнением:) «*Не любите!*...» Родного внука, впрочем, опрашивал подробнее – и коварнее. «И то ему скажи, и то! Настоящий допрос! Не я же писал, наконец! Наизусть, что ль, ему учить? – жаловался Андрей. – Я ему: немцы, он мне: ливонцы. А по мне – хоть чухонцы! Вчера целый час не отпускал!»

Ежемесячная газета «Кремль» с единственным редактором, сотрудником, подписчиком и разносчиком – Иловайским. (Родных и знакомых обносил сам.) Цензора, впрочем, он над собою почувствовал, ибо в 1905 году, после трех предупреждений, «Кремль» – закрыли за открытую и сердитую критику историком Иловайским исторического жеста последнего на Руси царя в октябре 1905 года. Помню, в молодом дневнике матери (около 1895 г.) такую запись: «Была на докладе Д.И. о призвании на царство Михаила Романова, в присутствии высочайших особ. По Иловайскому выходило, что Михаил Романов был избран на царство за ничтожество.

Смело, но в присутствии родных – неловко». Бесстрашие свое и глубочайшее нескитание со всем, что раз навсегда не предстало ему правдой и долгом, он доказал в эпоху более ответственную, чем 1905 год. «И истину царям с улыбкой говорить». Улыбки на лице Иловайского я не видела никогда. Сомневаюсь, чтобы видели и цари. Но правду – слышали. «Кремль», конечно, потом опять разрешили, и Д.И. продолжал наводнять им дома своих оброчных. Единственное, что у меня осталось от единственного моего посещения дома Иловайских – это стопы «Кремля» в глубоких нишах окон, стопы, доходившие до оконного креста и не аллегорически, а физически застилавшие жителям и посетителям божий свет и мир. Комнату эту, полуподвальную, с годуновскими сводами, прошу запомнить.

Это был красавец-старик. Хорошего роста, широкоплечий, в девяносто лет прямой ствола, прямоносый, с косым пробором и кудрями Тургенева и его же прекрасным лбом, из-под которого – ледяные большие пронизательные глаза, только на живое глядевшие оловянно.

Закрываю свои – и вижу: наша маленькая трехпрудная передняя, в дверях парадного старик в огромной шубе, перед ним оробевшая, за десять лет не могущая привыкнуть горничная. «Машей тебя зовут? Так доложи своему барину, что приходил барин от Старого Пимена. „Кремль“ принес».

II

Дом у Старого Пимена

Это был смертный дом. Все в этом доме кончалось, кроме смерти. Кроме старости. Все: красота, молодость, прелесть, жизнь. Все в этом доме кончалось, кроме Иловайского. Жестокый старик решил жить. «Заживает чужой век... Всех детей зарыл, а сам... Двадцатилетний сын в земле, а семидесятилетний по земле ходит...» Под этот шепот и даже ропот – жил.

Много позже прочтя Фарреровских «Hommes vivants»¹⁰⁶, я (прости меня Бог, ибо это – грех) не вспомнила, а глазами увидела Д.И. Книга, в ее страшности, груба. Столетние старики в какой-то каменной пустыне подстерегают и зазывают молодых путников и выкачивают из них кровь, которой живут. Ничьей крови Д.И. не пил, нет, он по-своему детей даже любил, но соответствие все же уцелевает: от такого долголетия, самого по себе редкого, а при стольких молодых родных смертях – чудовищного. Первая жена, двое мальчиков, дочь; сын и дочь от второго брака... Это был какой-то мор на молодость. Мор, щадивший только его.

Иловайского в нашем доме, как и в его собственном, часто упрекали в черствости и даже жестокости. Нет, жестоким он не был, он был именно жестоковым, с шеей, не гнущейся ни перед чем, ни под чем, ни над чем, кроме очередного (бессрочного) труда. Казалось бы – сколько предостережений! Если не сбавишь спеси, не сдашь власти, то есть прежде всего не сдашься перед очевидностью, – и те умрут. Все умрут. Но очи его видели другое. Они не видели смысла сменяющихся на столе тел. *Истории* в своем доме и жизни историк не ощутил. (А может быть, и не истории, а Рока, открытого только поэту?) Очевидность его очей была одна: его родительская власть и непогрешимость ее декретов. Смерть же – несчастье, от Бога посланное. Ни одной секунды старик не ощутил себя виновным. Да – был ли?

Над этими детьми был рок ранней смерти. Не улыбайтесь, он есть. И Иловайский, как в мифе, может быть, был только орудием. (Хронос *должен* пожирать своих детей.) Вина есть, когда есть ее осознание. Когда ее осознания нет, она не вина, хотя может быть и смертоносна. Иловайский же жил – в Иловайском жило непоправимое сознание правоты. Как судить непогрешимость?

И, может быть, то, что всем казалось волей жить, была неволя над ним рока, рок, обратный детскому, был рок над ним долгой жизни, как над теми – ранней смерти: долголетия, ставшего проклятием? (Сивилла, не могущая умереть.)

И так как всё – миф, так как не-мифа – нет, вне-мифа – нет, из-мифа – так как миф предвосхитил и раз навсегда изваял – всё, Иловайский мне ныне предстает в виде Харона, перевозящего в ладье через Лету одного за другим – всех своих смертных детей.

Вот те первые мальчики из окон семейного альбома и старшие бы меня на сорок лет, с молодой их матерью посредине. Оба на одно лицо: отца, большелобые, голубоглазые, прямолицые, до последней минуты через материнские колена плещущие друг в друга недвижной водою Леты...

Вот В. Д., любимая жена нелюбимого, – другого любившая, выпевавшая свою беду под солнцем Неаполя и умершая после рождения первого сына – на полуслове, с букетом в руках, парадная, нарядная, – сгусток крови шел и шел и дошел до сердца, – В.Д., залитая кораллами, с не остывшим еще румянцем Юга и первой радости. Вот она, концом кораллового ожерелья машет оставляемому сыну...

И – туман над Летой редет – не альбом! не портрет! – Надя, живая, – каштановая и розовая, вся какая-то жгуче-бархатная, как персик на солнце, в своей гранатовой (Прозерпина!)

¹⁰⁶ «Живых людей» (фр.).

пелерине, которую двуединым жестом озноба то распахивает, то смыкает, – о нет, не в саване! Миф савана не знает, все живые, живыми входят в смерть, кто – с веткой, кто – с книжкой, кто – с игрушкой...

(Всё в этой ладье сменяется, кроме лодочника.)

Вот Сережа, живой отблеск отживших поколений (о, как ты *ничего* не понял, историк!), изящный, тонкий, с маленькими бачками на совершенно детском лице, светло-черноглазый, не розовый, – ярко-бледный, – живой 1812 год! – с гравюры – из семейной хроники – точно вросший в свой (увы, студенческий!) мундир. (И вот таинственное слово из глубочайших недр моего младенчества встает: Сережа Бор-Раменский...) Сережа Бор-Раменский, Рауль Добри из романа для девиц Zénaïde Fleuriot... А в общем, вечное видение юноши: Ганимед, восхищенный Завесом, Гераклов Гилл, похищенный нимфой... Но *эта* река – Лета, река без нимфы, река без звука, Лета, которой ничего не нужно, даже его чудных глаз.

Дорогие Сережа и Надя, вижу вас весной 1903 года в блаженном месте: генуэзском Нерви. Сережу – в тени комнаты и матери, Надю – на полном свету, только пересекаемом материнской тенью. Мать Сережу хранит, Надю – стережет. Вот они обе в ландо на bataille de fleurs¹⁰⁷. Все цветы – ей, бумажные, с песком (а может, и свинцом) горошины – матери. Разойдется итальянец и запустит: в красотку – розой, в дракона – дрянью. (Как это А.А., сама красотка, в сорок лет без единого седого волоса, ухитрялась быть драконом?) Надя смеется, мать виду не подает, но после первого же рейса вдоль «марины», велит кучеру повернуть обратно – и невозвратно. С цветочного боя – в ту самую одну комнату, где сравнительно здоровая сестра с серьезно-больным уже братом живут вместе и будят друг друга кашлем. В Надю влюблен студент Фан дер Фласс, не голландец, а киевлянин, тоже больной, тоже красивый, которого мы с Асей зовем «монастырский кот», потому что толст и как-то особенно чист и живет в отдельном, вроде бы келья, домике. Мы с Асей носим от него Наде записки, а бывает, и от нее. Нас она тогда горячо, много раз подряд целует в голову, прижимая к жаркой груди. Влюбленным покровительствует моя мать, тоже молодая, тоже больная, часами занимая непереносимую ей А. А. хозяйственными, непереносимыми ей самой, разговорами: наблюдениями, соображениями, иногда – измышлениями: как, например, солить репу... (Потом нам: «Пускай посолит! Сама же и будет есть!») – и увлекая бдительного стража до полного забвения сроков. Но в один блаженный день блаженство кончается. А. А., не дождавшись конца лечения, под предлогом дороговизны жизни (двое в одной комнате, пансион по пять франков, миллионы...), на самом же деле – из-за успехов Нади (неблагонадежного состава этих «успехов») увозит детей из морского Нерви в сырое Иловайское «Спасское». Надя плачет, Фан дер Фласс, и не он один, плачет (особенно плакал один, с большой рыжей бородой, и даже не из нашего пансиона, на которого Надя даже ни разу и не взглянула), наша мать плачет, мы с Асей плачем, благонравный Сережа из почтения к матери не плачет, он неустанно, из экипажа, оглядывается, казалось тогда – на Нерви, оказалось – на жизнь.

* * *

Мать. Мать она была сыну, не дочерям. Да простит мне ее тень и да увидит, что я прежде всего и после всего – не сужу. Есть такая украинская сказка о матери родной и матери крестной. Идет девушка ночью мимо храма, видит – свет, заходит. Служба тихая, священник чужой, молящиеся – чудные: одни давно не виданные, другие и вовсе никогда. Вдруг кто-то ее за плечо. Оборачивается: крестная мать покойная. «Беги отсюда, девонька, а то здесь твоя мать родная, увидит – разорвет». Но поздно: мать – увидела, вон, сквозь народ, пробирается. Девушка – бежать, мать за нею, так и мчатся они по пустым полям (дочь-то по земле, а мать-

¹⁰⁷ Битве цветов (фр.).

то за ней – по-над землею). Но рядом крестная, не дает в обиду, на бегу засыпает ту, родную, крестами, открешивается. Наконец – конец. Край деревни, первая хата. Петухи поют. И крестная, прощаясь: «Никогда, девонька, больше не заходи ночью в церковь, как увидишь свет. Это неупокоенные души молятся с неупокоенным попом. Не будь меня – заела бы тебя твоя мать родная, с самой своей смертушки на тебя зубы точит».

Когда я эту сказку, как всегда в таких случаях, для выяснения самой себе, стала рассказывать и потом опрашивать, – в чем дело? почему? – только один из моих собеседников: собеседница, категорически: «Совершенно понятно. Ревность. Ведь дочь – соперница». Посмертная ревность к молодости, несчастной – к счастливой, мертвой – к живой. И, возвращаясь к А. А.: неупокоенные страсти мертвой, *никогда* не жившей. Ибо А. А. никогда не жила. Выйдя молодой красавицей за старого Иловайского, она вышла за деньги и за имя. Получила же ключи на пояс и на себе – крест. Ревновал он ее, по домашним рассказам, люто. Жестоковыйный старик любил красоту. Никуда без себя не отпускал, только раз, с каким-то своим присным, на бал, которым потом ее всю жизнь попрекал. Зря. Была горда и верна. (До измены, как до собственной красоты, просто не снисходила. Так и вижу ее, стоящую с видом, точно попирающим собственную красоту.) Пошли дети. Дети, сразу отделенные от нее традиционной стеной кормилиц, нянек, бонн, гувернанток, учителей. Не говоря уже о водоразделе родительского верха и детского низа. Дети, действительно, жили под родителями, как под спудом: то, по чему родители, со всеми их тяжестями, всей своей тяжестью, ступали, было для детей – верхом, то есть попросту лежало у них на головах. Вроде Атлантов, держащих небосвод с небожителями. (Недаром их «низ» был со сводами!) На том и надорвались. И, возвращаясь к воспитанию: как тут было до своего ребенка – добраться? Сквозь всю эту подобострастную и стойкую толщу – прорваться? Для этого нужно – *очень* любить. А можно ли, я только ставлю вопрос, а неизбежно ли, а так ли уж непреложно – любить ребенка от нелюбимого, может быть – невыносимого? Анна Каренина смогла, но то был сын, сын – в нее, сын – ее, само-сын, сын ее души. Таким сыном для А.А. оказался последний ребенок – Сережа, дитя ее души и тела, *она* живая – если бы ее с самого начала не убили.

Нет физического сходства без душевного. И если Сережа, весь кротость, робость, нежность, с первого взгляда казался душевно-обратным матери, то потому, что сравнивали его с нею – нынешней, а не с нею – тогдашней, его однолеткой. И не высшее ли смирение она проявила тогда, выйдя замуж за нелюбимого, раз навсегда смирясь: сломясь, точно так же, как ее сын без всякой мысли ропота связал бы себя с той, которую бы движением брови указала – она. Только в Сереже, еще не тронutom жизнью – мы видим упокоевание покорности, в ней – ожесточение покорности.

Меж тем жизнь, понемножечку, красоту перековывала. Когда знаешь, что никогда, никуда, начинаешь жить тут. Так. Приживаешься к камере. То, что при входе казалось безумием и беззаконием, становится мерой вещей. Тюремщик же, видя покорность, размягчается, немножко сдает, и начинается чудовищный союз, но настоящий союз узника с тюремщиком, нелюбящей с нелюбимым, лепка – *ее* по его образу и подобию. Но какой же может быть здесь «образ и подобие»? Между стариком-ученым и нелюбящей красавицей? Что могла А. А. от Д. И. «перенять»? Историю, дело его жизни? Нет, историю он писал сам. Идеи? Они ей, как всякой настоящей женщине, были безразличны (не были бы, ежели бы, но так как этого «ежели» не было...). И, чтобы не спрашивать праздно – она могла перенять от него только методы. Его методы скопидомства, домоводства, детоводства, однодумства и т.д. Методы, сразу выродившиеся у нее в привычки и даже мании, ибо одно – в стране, другое – в доме, одно – в книге, другое – в жизни. Вся нетерпимость Иловайского к инородцам, перенесенная на одну немку-экономку, вся теория государственного накопления – в пределы собственной кладовой, весь идейный Домострой, перенесенный на *живых* детей. Нечего говорить: Иловайский в доме был

тираном, но тираном идейным, то есть не мелочным. Раз навсегда, en bloc¹⁰⁸. И больше олимпийцем, чем тираном: он до детей просто не снисходил. А. А. же, из дома не выходя, во всё входила, в каждый их шаг и жест, и именно потому – что всё и чисто внешне, в них самих никогда не вошла. Разница между Папой, санкционирующим, и рядовым боевым членом братства Иисуса. Словом, в доме А. А. была его правой рукой, а правая рука всегда пуще головы. «Молодые девушки должны ездить на балы», – Иловайский. «Да, но по возвращении вешать платья на „плечики“, – А.А. (Сильно говоря, она, конечно, была *огорчительницей* колодца их молодости.) «Молодые девушки должны танцевать с теми, кто нравится их родителям», – Д. И. «То есть не танцевать с теми, кто *им* нравится», – А. А. Упор с должествующего переносился на возбуждаемое. Физический запрет становился духовным.

Почему? Почему и откуда запреты? А потому, что ей самой, так еще недавно, запретили жить, сама себе сгоряча (пусть с холоду расчета, но все же сгоряча воображения!) запретила, потому что сама себя заживо зарыла в доме у Старого Пимена. Дочери, особенно одна, растут красавицы. «Я тоже была красавица». Дочери растут веселые. «И я смеялась».

И вот, подсознательное (подчеркиваю это трижды) вымещение на дочерях собственной загубленной жизни. Если, в упрощающем мифе родни и дворни, Д.И. детский век «заживал», А. А. его – «заедала». Не заедала, нет. Она не питалась их соками, ибо тогда эти соки ей шли бы впрок, чего не было, – она их жесткой рукой зажимала, не давала им ходу, чтобы ее женские отпрыски тоже не были счастливые. Иное старение кормится возле молодости дочерней, это же ложилось на них могильным камнем. Я задохнулась – и ты не дыши.

Чудовищно? А такой брак – не чудовищно? Сама виновата! А разве эта сама – знала? Знала, что такое вообще брак? Это нынешние знают. Те, пятьдесят лет назад, летели в этот ад, как бабочки на свет, – всей грудью. Оступались в него, как в ров. И – как знать? Может быть, еще и родительская власть, угрозы и уговоры *ее* матери? Ожесточенное бедой сердце – вот. Но как же вымещать на невинных? А разве она знала, что – вымещает? Это знающая природа в ней вымещала, мстила за поправленную себя. *Она*, в полной невинности – воспитывала. (Показательно и подтвердительно, что недуг, от которого из троих ее детей погибло двое, был *ее* недугом, даром, наследством. Впрочем, и у Д.И. был в юности туберкулез, но – когда была эта юность? и была ли когда? И вот уже начало нового мифа о родителях, откупившихся от смерти детьми...)

Девочек не мучили. О, им многое разрешали. У них были наряды, подруги, братья подруг, у них были билеты на парад и ложи в балет, и, главное – у них были «живые картины»... Сказав это слово, я дала эпоху. Это был рассвет девятисотых годов, недалекий канун Пятого. Шел пока еще ручьевый шум студенческих беспорядков. Слово «педель» – одно из первых, которое я в младенчестве осознала, от созвучия с «пудель». И вот, от сходов, вопросов, запросов, страшных людей, идей – щит: живые картины. Колеблющийся щит: целая стена старинного штофа. А за ним...

Недвижная группа из живых людей, окрашенная бенгальским – зеленым и малиновым – пламенем. Группа не дышит, улыбки застыли, пламя трепещет, догорает... Занавес! Рукоплескания. Красавица Надя, *весна* для каждого встречного, застывшая аллегорией Весны, с бенгальским румянцем на персиковом. Живая красавица, застывающая красавицей спящей. Красота, спящая под очкастыми – подслеповатыми – дальнозоркими – слезящимися – и Бог знает еще какими! – взглядами старцев, старцев – Елены, старцев – Сусанны, семидесятилетних сверстников ее отца... (Могла бы назвать имена, иные – исторические, но зачем? Все это ушло в миф...)

Но что тут делали бородатые студенты и доценты? (Из всей группы безусым был только Сережа, неизменная пара всех Надиных превращений: Май всех ее Весен, Царевич – Краса-

¹⁰⁸ Весь, целиком (*фр.*).

виц.) Пенсне можно снять, но бороду? А ведь и они участвовали в «Веснах» и «Помпадурах». Бородатые – маркизы? И этот *contresens*¹⁰⁹ в доме у историка? Как ни грустно, не могу не улыбнуться. И десятилетия спустя не могу не содрогнуться от такого сгущения жути: «живые картины» – в мертвом доме, мертвые картины из живых людей.

Были живые картины, были выезды, – поднадзорное танцевание, напоминающее мне уныние первых Ассамблей. Но девочки отыгрывались. Жизнь всегда отыграется. Чайный стол молодежи понемножку обрастал кругом молодых вольнодумцев (позже – всего только правых кадетов!). Свечи старого дома даже под надежными щитами своими содрогались от первого дуновения «идей». Каких? Еврей тоже человек. И самые храбрые: «Раз сам Христос был еврей...» Звучало еще робкое, но и в робости своей грозное, ничем, кроме собственного звучания, не заполненное слово «свобода». Какая? Вся. От чего? От всего. И, конечно, прежде всего – от дома. Нет, нет, не от родителей. Родители еще были неприкосновенны, неподсудны, да и они ли гнели? Нет, не Д.И. же со своими декретами раннего спанья и такого же вставанья, не А.А. со своими нотациями и интонациями – родители сами были *гнетомые* – гнел дом, сам Дом, со всеми в нем прежде жившими и жившими так, как нынче жить уже нельзя (а было ли когда-нибудь можно?). Гнел дом толстыми, как в бастиионе, стенами, гнел глубокими нишами окон, точно пригнанными по мерке привидений, гнел дверями, не закрытыми, не открытыми – приоткрытыми, гнел потолками, по которым неустанно, по ночам, кто-то взад и вперед, взад и вперед, гнел подсматривающим, вплотную прильнувшим садом. О, больше всего садом, его мнимой свободой, на самом же деле всем дозором бессонного древесного сырья, так явно держащего руку – бывшего, садом с его сыростью, садом с его старостью, с калиткой, не ведущей никуда. И больше всего слово гнело: Пимен. Кто был Пимен? Что за святой? Почему не сохранил? Почему из троих выпустил *не* на кладбище только одного, одну? Иловайская девическая «свобода» была только свобода от этого страшного святого, точно забивавшего их клюкой в гроб. Свобода от сторожа, сторожившего дом, стороживший их. (О, *Пимену* дело только до *дома*, сохранить дом во всем объеме, со всем, что в нем, будь то комод, гроб, сын.) «Вываться от Старого Пимена!» Сами не знали, что говорили. (Однажды, после такого взрыва, Надя: «Впрочем, мы с Сережей в нем долго жить не будем. Дом останется Оле». И Оля, как бы обиженная на такой распорядок (подарок!), – запальчиво: «Тогда я его взорву!» Но Россия со *всеми* Старыми Пименами взорвалась раньше.

Гнет родителей – был, но гнет – исполнительный: подневольный. (Не забудем, что и над Зевесом – рок.) Гнет был не от их присутствия, а от всеприсутствия, всюдусущия: в самом воздухе дома и на тридцать верст вокруг (на тридцать лет вперед!). «И настигнет мя десница твоя» – это вовсе не значило, что А.А. над дочерьми сидела и пилила (дочери для нее были только частью домоводства, такую же, как сундуки), что Д.И. в неурочные часы заходил и ловил. Гнет был в том, что неурочных часов не было, не могло быть, что сам этот дом был затянувшийся «урок истории», что слишком легко было физически из-под гнета выйти: обойти. Это был, если довести вещь до ее истинных размеров – искус доверием. Нет, не то слово: родители и предположить не могли, чтобы их можно было обмануть. Слепость их веры (в непреложность своей правды и власти) и составляла затвор. Замков не было. Впрочем, давно известно, что вера – привязь пущая всех цепей. Если нельзя обмануть доверяющего, то как же можно – не сомневающегося, не усумнившегося никогда? Дочери, как и мать, были честны и горды. Дом у Старого Пимена при всей его тяжести был исполнен благородства. Ничего мелкого в нем не было. («У нас было тяжело, у нас не было так мелко» – слово Оли И. о семье, в которую из Старого Пимена вышагнула.) Это не была бытовая трагикомедия приказов и обманов, придиорок и уловок, как все бытовое кончающееся благополучно. Дом У Старого Пимена благополучно кончиться не мог. Потому он так надо мной и властен, что он был не менее чистокровно-тра-

¹⁰⁹ Бессмыслица (*фр.*).

гичен, чем дом Приама. Что над ним был – Рок. Рок, сказавшийся в самой физической заочности родительского гнета, в их физическом олимпийстве: наверху, на свету, откуда вниз, в полуподвальные садовые туманы, шли невидимые декреты – токи. (Единственный дом, кстати, на моей российской памяти, где бы *родители* жили наверху, а *дети* внизу). И в Трехпрудном, и во всех ему подобных – детским был тесный, низкий, но жаркий и светлый верх, родительский – парадный, просторный, но пустынный и холодный низ. Дети от родителей спасались наверх. Здесь же дети родителями были низвергнуты в преисподнюю, под достоверные *своды*... Аида. Очевидно, старина Старого Пимена была древнее дворянской (Уран, Титаны...). Но подчас, еще углубляя этот образ, Д.И. предстает мне уже не Зевесом – Гадесом, владыкой подземного царства.

Бедная Надя, по счету насильственных гранатовых зерен проведенная, за исключением одной италийской весны, в родном Аиде – всю жизнь!

И бедная ее мать, от всего гранатового яблока искуса – ни зерна не оставившая, в Аиде навек оставшаяся.

И бедная В.Д., и за порогом отцова царства опутанная гранатовыми бусами...

И бедная, бедностью – счастливая Оля, променявшая все Плутонины сокровища на пшеничный колос земли, любви.

Бедные – вы, и бедный – ты.

Зевес или Гадес – этот отец своих детей держал и вел, как Олимпиец. Таких, как он, судить нельзя. Да их больше уже не будет. *Были*.

Но была в нем одна область *не* олимпийская, *не* аидова, где ни лавров, ни гранатов, ничего, кроме золы и шлака. Это была область его ненависти: юдоненависти. Я еще нигде не сказала о ветхозаветном, изуверском, *иудейском* сердце Иловайского. Ибо что же его ненависть к евреям, как не библейская, Саваофом поведенная и Моисеем законоположенная ненависть правоверных к иноверцам и, ее пережиток, иудейская – к христианам? Иловайский, плачущий горячими слезами над заочно-отвергнутым, никогда не увиденным внуком, в жилах которого течет еврейская кровь (бедным Олиным сыном, недолго зажившимся), – что же он, как не изувер-еврей, плачущий над внуком, в котором течет христианская? И проклятия Д.И. последнему оставшемуся в живых ребенку – дочери, за то, что ввела в его род – еврейство – не те же ли проклятия того же изувера дочери, опорочившей его род – христианином?

Не-близнецы? Не-двойники?

Между таким юдофобом и тем же изувером – канат ненависти, связующий, и они, через эту связующую их *жилу*, глядятся друг в друга, как в зеркало.

Но *правоверный*, ненавидя, прав, *православный*, ненавидя – преступен.

Если был у Д.И. бог – то бог ветхозаветный, убийственный, губительный, бог с засухой из ноздрей и с саранчой за пазухой, – *тот* бог, не наш.

И, чтобы все сказать одним словом тогда семнадцатилетней Аси – Розанову, в ответ на какую-то его изуверско-вдохновенно-обличительную тираду:

– Василий Васильевич! На свете есть только один такой еврей.

(Розанов, бровями) – ? —

– Это – *Вы*.

* * *

И, выплывая на поверхность века, места и быта – Иловайский был менее всего самодур. Никогда – «чего моя левая нога захочет» (та, с которой нынче встал!) – всегда – *голова*. Между ним и Багровым-дедом ничего общего, кроме неизбежной тяжести личности¹¹⁰ и единствен-

¹¹⁰ Quand c'est un caractère, c'est toujours un mauvais (Le Tigre) (примеч. М. Цветаевой). Перевод: «Что до характера, то 93

ного в жизни обоих случая умиления над занесенным под их кровлю одиноким и бесстрашным женским существом. Новой особью женщины: единственной. Д.И. мою мать явно чтит, и она, столь страстная и безоговорочная в своих суждениях, его никогда, ни в чем, ни разу, за все мое детство, ни словом не осудила. Странность этой расположенности была и во взаимоположении этих людей: отец первой жены, расположенный ко второй. Вторая, так страдавшая от первой (тени первой!) – к отцу этой первой. По существу же, они чем-то, отдаленно, походили, подходили (совершенно так же, как совершенно непохожие Софья Николаевна и Багров-дед). Больше скажу: если бы не закон, по которому дочь у отрешенного ученого и старика – непременно красавица и певица (или танцовщица), если бы не этот закон обратной наследственности, моя мать больше бы годилась ему в дочери, чем его собственная, собственные. И вот он, ни в жене, ни в дочерях не встретивший (да и не допустивший бы!) помощницы, любовался на помощницу другого, заместительницу в сердце его единственного друга его любимой дочери. Моя мать же, как отдаленная, но истая германка, больше всего любившая трудность и чтившая труд, не могла найти слова осуждения тому, кто всю жизнь, волей и неволей, в работе, как в жизни, ничего другого не знал. И не хотел знать. Взаимное признание *сил*. Думаю, что если бы она словами захотела определить свое отношение к Д.И., этим словом было бы: «*Это* уже вне суда». Что – «*это*»? Да то нечеловеческое одиночество, холодившее кровь в жилах его собственных детей. Нечеловеческое одиночество служения.

Но и он ей – немало прощал, не только всю ее сущность, для него, по существу, дикую, но и самое для него в ней существенное: ее юдоприверженность: постоянную и в России и за границей окруженность евреями, не объяснимую ни происхождением (полупольским), ни кругом (очень правым) – *только* Генрихом Гейне, *только* Рубинштейном, *только* еврейским гением и ее женским вдохновением, *только* ее разумом, *только* ее совестью, – хотела сказать *только* ее христианством, но, вспомнив слово «несть ни эллин, ни иудей», не могу, ибо для нее иудеи – *были*, и были – милее «эллинов», и обертоном всех этих «только» (всех не перечислишь!), лейтмотивом *ее* и *моей* жизни – толстовским «против течения»! – хотя бы собственной крови – всякой среды (стоячей воды).

Так вот эту-то приверженность, для него совершенно непонятную и неприемлемую, Иловайский не сразу, молча, как органический порок в дорогом существе, раз навсегда – простил.

Когда она умерла, старик глубоко горевал. Помню его письмо к нам в Тарусу, твердое только почерком. «Вы потеряли не только близкого человека, но большого человека», – писал он своему единственному другу, моему отцу. «Друзей много, друга – нет» – вот еще одно его ворчливое, стыдливое (моему отцу же!) высказывание. Дружба эта, думаю, совсем не основывалась на общности идей. Если мой отец был верноподданный – то, как и православный, пассивно, традиционно, от прирожденного смирения, несуждения – и безразличия: безостаточной поглощенности другим: одним. Да и можно ли назвать «верноподданным» того, кто если и надевал свои ордена, то исключительно, чтобы просить за какого-нибудь забранного на сходке студента, которого и в глаза не видал. «Церковным» – того, кто, не желая смущать близких, а главное, делать из своей смерти «события», умер (сын, внук и правнук священника!) – *без* священника, хотя знал, что умирает. Такой «монархист» и «православный» прежде всего – человек. И – только человек. «Под небом места много всем» – вот его однострочное, детям по каждому поводу высказываемое исповедание. Иловайский же, кроме любви к России, знаменуемой для него ненавистью к инородцам, любви к монархии вплоть до суда над монархом, ничего не знал и не хотел знать. Дружба эта зиждилась на дорогих телах, тенях. Нет прочнее дружбы – на костях! Это были два старика, потерявшие одну семью. Старых друзей – не судят.

Вижу их вдвоем, в низкой широкой комнате с многими, многими, одинаково-одинокими окнами в сад. Над притолокой двери, в него ведущей, охотничий рог Иловайского (никогда не

охотился!), которым он сзывал гостей и детей на трапезы, поражая молодежь мощью его звона: своих легких. Роландов рог историка, ныне навек замолкший.

Мы с Асей – в Спасском, именуемом также Крюковым, по названию станции Николаевской железной дороги. В детстве нам это невиданное Крюково мнилось крюком, железным крюком старьевщика, а то и клюкой, Ягой, значит, опять-таки – старостью. Со станции ехали на линейке, вещи без будущего и прошлого: *вдоль* событий, – мимо черных елей, мягко-колючими мокрыми лапами задевающих по лицу, как кропилом. Разлатое здание, поданное как на ладони болотистой равниной. В дом – цветником: тем, что им было, тем, что им больше не будет. Внутри тишина. Старина. Чувствую, что комнаты здесь живут одни, *продолжают*, не замечая, что половины семьи уже нет. Не замечая и оставшейся половины. Так что выход А. А., откуда-то сбоку, в сером переднике с грудью, со стопкой белья в руках, а за ней и Д. И., тоже в сером и тоже с белым (газетной стопой!) скорей... неожиданен, скорей... нарушителей. Мы никогда не узнаем, насколько комнаты старых домов, которые мы, не замечая, минуем – нас не замечают, нас, как волны старого моря, минуют – в *своем* продвижении. Волны моря и рода, только изредка, по неучтимой прихоти, возвращающие через сотню лет берегу – наше кольцо, наше лицо – правнуку.

Сидим с Асей, сначала как на гвоздях, а потом уж – как пригвожденные, с краю штофного диванчика, на который нас усадила А.А., сама, неуютно и властно и от прямоты спины точно стоя, сидящая против нас на твердом стуле с работой в руках, к которым (рукам и работе) как будто бы и не снисходит. Между стариками канделябр в две свечи с зелеными наглазниками, от которых свет, на лица, исподлюба: «А не думаете ли вы, Иван Владимирович...» – «А не думаете ли вы, Димитрий Иванович...» Но чего не думают «И. В.» и «Д. И.», мы не слышим. Сидим убаюканные старческими интонациями и скучными сюжетами и зачарованные – немного как птицы – неотступным взглядом А.А. (вспоминающим? сравнивающим? невидящим?), в которой узнаю чудные глаза Сережи. Сережа был ее живым портретом, и теперь, после его смерти, она стала *его* живым. Тот же отродясь-иронический рот, та же возможность смеха в глазах (*rire latent*¹¹¹) – смеха, ни им, ни ею не высмеянного. Сын, умирая, точно завещал ей свою молодость, чуть-чуть играющую по углам губ, – будто в прятки. В этот вечер я А.А. – любила, и она, точно почуяв, а может быть, и помягчев сердцем после потери своих, обаятельно и как с ровнями беседовала с нами, дикарями и сиротами, мать без детей – с детьми без матери, хвалила прочность нашей обуви, чистоту нашего французского выговора и в конце вечера до того необъяснимо растрогалась, что обещала нам в подарок: Асе – «Дети Солнцевы», мне – «Юность Кати и Вари Солнцевых», написанные какой-то ее родственницей. Самое изумительное, что мы, действительно, эти книги получили, каждая – новую, каждую с надписью: «От сердечно любящей А. А.».

Так сын в этот вечер перевоплотился в мать.

...Но был у иловайского молодого стола свой край – тихий. Это было царство небесное «херувимчика» Сережи, лебеда среди окружающих белоподкладочников, среди маменькиных сынков – сына матери. Здесь ни споров, ни вопросов. Здесь отродясь все было решено: пред-решено. Сережа из всех детей отродясь вверился Пимену и даже умирая не спорил. Примерный крошка в платьице, примерный гимназист, примерный студент – противно? Да, если бы не неотразимое очарование глаз, усмешки, повадки, легкого налета не то какой-то виновности, не то подтрунивания над собой – не то над вами, за то, что вы в это благонравие так уж поверили... Чуть сощуренные светло-черные, в полном соответствии с ртом, чуть усмевающимся и тоже как бы сощуренным по углам – глаза какого-то непрерывного храбрящегося прощания, гощения (недаром и умер в гостиной!), глаза старшие глядящего, глаза рода, глаза – последнего в роду.

¹¹¹ Невыявленный смех (*фр.*).

Тихоня, херувимчик, маменькин сынок, старушкин угодник, белоподкладочник, черно-сотенец?

Не тихоня, а тишайший, не херувимчик, а Cherub¹¹², не маменькин сынок, а сын – матери, не стародамский угодник, а ревнитель древнейшей заповеди, не белоподкладочник – сама белизна, не черносотенец – горноста́й.

Странно: в этом красавце было какое-то сходство с Павлом, да, вопреки уродству, вопреки красоте. Павел был уродливой крайностью того типа, которого Сережа был прекрасным полюсом. Тип же один: смертный. Очень явные ноздри чуть коротковатого, как бы ножницами подрезанного носа, очень явные зубы, глубокие ямы глаз, подъямины скул. Точно смерти с них даже не меньше придется снять (дело не в худобе), а меньше придется над ними работать (modeler, формовать), чтобы получить свой собственный образ. Такие лица часто бывают у детей, верней: много детей с таким лицом. (Детей – много, лицо – одно.) Мальчиков. Непременно: темноглазых. Взываю к сочувственному (эвокативному) воображению читателя.

Когда я все дальше и дальше заношу голову в прошлое, стараясь установить, уловить, кого я первого, самого первого, в самом первом детстве, до-детстве, любила, – и отчаиваюсь, ибо у самого первого (зеленой актрисы из «Виндзорских проказниц») оказывается еще более первый (зеленая кукла в пассаже), а у этого *самого* – еще более *самый* (чужая дама на Патриарших Прудах) и т.д., и т.д. (только в *другую* даль!) – когда оказывается, по слову поэта:

Я заглянул во столько глаз,
Что позабыл я навсегда,
Когда любил я в первый раз
И *не* любил – когда? —

а я сама – в неучтимальном положении любившего отродясь, – *до-родясь*: сразу начавшего с второго, а может быть, с того... в положении продолжения без начала, в положении отрожденного продолжения... Но конца у этого словесного периода, по самой внутренней его бесконечности, быть не может.

Правда, есть свидетельство моей матери о моей двухлетней бурной любви к черноглазому и-мазому студенту Айналову, но я этой любви не помню, кроме того, откуда мать могла знать, что это – первая, поручиться, что я уже с рук кормилицы не рвалась на другие, *не* ее? (Раз есть вещи, которые никогда не кончатся, всегда будут, – а эти вещи есть, и их знают все, – так же законно, чтобы были вещи, которые никогда не начинались, всегда были.) Но теперь, так сильно вжившись в Сережу, и по тому волнению, которое он, *мною* вызываемый, во мне вызывает, мне начинает казаться, – я на самом краю уверенности, – что первым живым мужским существом, которое я любила, был он.

Вижу себя четырехлетней толстой девочкой, часами в полном молчании простаивающей возле Сережи, глядя, как он заступом с Оки к нам на дачу в крутом боку горы роет лестницу. И когда однажды Августа Ивановна, раздраженная такой настойчивостью и устойчивостью – подвинуть меня дальше очередной Сережиной ступеньки было невозможно: «Да что ты всё глядишь и глядишь на эту Treppe¹¹³? Ничего в ней такого нет interessant!» – я, вздохнув всем животом: «Я гляжу на его голубые панталоны...» Голубые? Не знаю. Он тогда был гимназистом, а у гимназистов были серые. Или же, летом, суровые, холщовые. Голубизна Оки? Любви? Но слово и чувство «голубые» – помню.

Но что-то еще встает, раннейшее, позднейшее? «Сережа и Надя» – не Иловайские, а другие, не брат Сережа и сестра Надя, а другие, по-другому. В приложении к «Ниве». Про-

¹¹² От cherubin – херувим (фр.).

¹¹³ Лестницу (нем.).

читанное? Прослушанное? У нас в Тарусе, как по всем таким семьям России – укрыться от темных ночи, – сбивались под белый ламповый круг (подножка лампы, объемом в медвежью ногу: медведь лезет в улей!), и кто-то что-то читал. Иногда детей «забывали». Только помню ожог и – жуть тайны посреди груди, там, где ребра расходятся: никому не сказать про Сережу и Надю, Сережу и Надю... Сережа и Надя. Приложение к «Ниве», рассвет девятисотых годов.

Странно, что от Старого Пимена я получила первый урок легкомыслия – непривившегося. Вот он, черным по белому, в малиновом альбоме Нади, гостившем тогда у сестры Валерии.

Спешу тебе в часы досуга
Написать десять строк.
Прими совет сестры и друга —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Ты весела, ты все хохочешь,
В головке бродит ветерок,
Но, если плакать ты не хочешь —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Пуškai они тебе клянутся,
Пуškai грозят взвести курок,
Ну, хоть на части разорвутся, —
Не верь мужчинам, мой дружок!

А если ты им верить будешь,
Они дадут тебе урок,
Который ввек ты не забудешь, —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Я сказала: легкомыслия, хотя по содержанию нужно бы сказать: благоразумия. Но так как ни то, ни другое мне на роду написано не было – то и урок не привился, и я, как, впрочем, и сама Оля, и бедная Надя, и все мы, бывшие, сущие, будущие, до скончания веков, – аминь – в «неверие» не поверила, встречному – верила.

Но дело не во мне, дело в тоне эпохи, диктующем одаренной и благородной девушке такие стихи в альбом на редкость одаренной и одухотворенной сестре.

Не сужу. Невинно. То же самое, что «Раз в крещенский вечерок», и ведь главное – те же девушки! («Как ваше имя? Смотрит он и отвечает: Агафон».) Вечный сторожевой окрик одной сестры – другой (одной доверчивей другой!) – «Не верь: обманет!» Не вырождение девичества (бессмертного), а вырождение целой культуры, открывшейся Пушкиным и докатившейся до последнего листка девического дворянского альбома, на котором – уж не знаю, чьей рукой:

Когда я кончу мой вояж,
Mesdames, тогда я буду ваш!

(Прощание Собинова с московскими дамами, восход девятисотых годов).

Однажды, тогда же – мне было семь лет – Сережа, мне: «Так ты мне свои стихи перепишешь?» – «Ну, конечно, черт возьми!» – «Но зачем же „черт возьми?“ – с таким недоумением, даже страданием, несмотря на чуть выросшую улыбку, что я, сразу ударившись подбородком

себе в грудь (почему не ему?), разом всадила все четыре передние „лопаты“ в нижнюю губу. Странное чувство и не приписываемое себе, тогдашней, чувство, мне перед Сережей (семь лет и семнадцать) всегда было стыдно за себя – такую. Какую? Да здоровую (он тогда еще не болел), резкую, дерзкую, с черными ногтями. Я, как негр, стыдилась своей непоправимой черноты. Помню, какого труда мне стоило войти в залу, где на зеленом диване между зелеными филодендронами сидел он в своей небесного цвета тужурке с другими студентами, но не такими же, тоже в тужурках, но не таких. Какого сведения челюстей – пройти через всю эту паркетную пустыню и подать ему руку. „А стихи всё пишешь? Пиши, пиши!“ Мне от этого голоса сразу хотелось плакать. Плакать и каяться, что я такая злая, грубая, опять дала в зубы гувернантке, которая меня дразнила, жестянкой от зубного порошка, а вот он – такой добрый со мной, такой нежный... И чем нежнее и добрее он меня расспрашивал, может быть, что-то чуя и стараясь рассмешить: „Ну, улыбнись, улыбнись, улыбнись же наконец, не улыбка!“ – тем я ниже клонила голову с накипающими слезами и – последним голосом: „Я лучше принесу тетрадь, вы сами прочтете...“ Это, кажется, единственный человек за все мое младенчество, который над моими стихами не смеялся (мать – сердилась), меня ими, как красной тряпкой быка, не вводил в соблазн гнева... Может быть – он сам писал стихи? Прозу – знаю. Двенадцати лет (рассказ моей матери, очевидицы) он по настоянию родителей стал читать на какой-то их „пятнице“ свою пьесу „Мать и сын“. Действующие лица: „Мать – 20 лет, сын – 16 лет“. Взрыв хохота, и автор, не поняв причины, но позор поняв, сразу и невозвратно убежал в свою детскую, откуда его не могла извлечь даже мать.

А мать над ним – все могла. Больше скажу: он не мог иначе, чем мать. Не мог иного, чем мать. Думаю, они мало друг с другом говорили, больше – глядели. Ибо слова всегда опасны. Словами он бы должен был ей сказать: «Мама, зачем ты дергаешь Надю? Мама, зачем ты омрачаешь нашу молодость? Мама, мы скоро умрем». Глазами же он ей говорил одно: «Люблю. Твой».

Эта любовь у либеральной молодежи называлась «консерватизмом», равно как собственный инстинкт самосохранения – «политической оппозицией». Станные бывают слова (и чаще – иностранные!) для самых простых вещей. Но пока до простоты додумаешься...

Милый Сережа, четверть с лишним века спустя примите мою благодарность за ту большеголовую стриженую, некрасивую, никому не нравящуюся девочку, у которой вы так бережно брали тетрадь из рук. Этим жестом вы мне ее – дали.

Спасибо и за старый мир, ныне всеми, всеми преданный, больше всего же, хотя и невинно, теми, кто его хотят воскресить. Вы были его чистейшее зеркало.

Спасибо за верность дому – даже такому.

Спасибо за мать.

* * *

После Нерви брат и сестра стали умирать.

Не сразу. К нам за границу доходили слухи, что увезены они отцом в Спасское. Что кормит он их там овсянкой и заставляет спать с открытым окном. «Что ж (мать над письмом), и овсянка и окно вещи полезные, но вот – сырость... Ведь Спасское стоит на болоте... И не проще ли в Крым?» Но в Крым (предполагаемые доводы Старого Пимена) одних нельзя: опять в Надю все сразу влюбятся, и вдруг примерного Сережу окрутит какая-нибудь дрянь? А матери с ними ехать – значит, бросать всё. Всё, значит – дом. Дом, значит – сундуки. На кого оставить? На маленькую немку-экономку? Но она сама цыпленок, где ей? Только и умеет, что испуганными голубыми глазами не мигая глядеть на всех и особенно на Сережу, который никогда и мухи не обидел... Как ей совладать с вороватой горничной, лукавым дворником, пьяницей-кухаркой и всеми их земляками и кумовьями, – со всей этой грабильной? Кроме

того, в Крым, значит – на две семьи. И кто же будет разливать чай на ученых пятницах у Д.И.? Оля? Да к самой Оле надо приставить гувернантку, ибо из троих она – пушная, самая тайная и упрямая, опять у нее обнаружила борный вазелин для рашения бровей и ресниц – и не только упрямая, но и расточительная, ибо тот вазелин – у меня под ключом, значит, этот – новый. А все эти вазелины и ресницы, чтобы нравиться этому – не дай Бог! – как только его в дом пустили? – Р – ну. Какой уж тут Крым?

И веером, в ответ на эти соображения, Д.И., лаконически:

– Везу их в Спасское. Свежий воздух и овес – это главное.

Сережа умер первый. Про смерть свою он знал. Этот невинный, в земных делах несведущий ангелочек в этом последнем земном деле и в первом неземном оказался именно ангелом: знающим. Сколько я их видела, за всю болезнь моей матери, по Боривахам, по Квисисанам (почти уже – по часовням!), и на Ривьере, и в Шварцвальде, и в Ялте – врачей, выхаркивающих последний лоскут легкого с сияющей уверенностью, что это «маленький бронхитик», отцов семейств, не догадывающихся проститься с детьми, юнцов, расписывающих вечера на двадцать лет вперед, волкоподобных старцев, заедающих саму возможность возможности – сырым мясом (женщины, даже самые молодые, неизменно, знали) – тяжелобольных, с опытом чужой болезни, чужих ежедневных, с теми же приметами смертей, вплоть до № такого-то, куда уносят смертника, или, как в Нерви, в дом напротив, по винтовой железной лестнице, под гробовые своды сестринского убора, – а вот этот, без всякого опыта умирания, ибо умирал он от этой болезни в семье – первый и никогда в санатории не был, – не обманувшись ни посулом Крыма, ни собственным румянцем, ни особой легкостью в теле, так легко принимаемой за силу: смертью в жилах, принимаемой за жизнь, этот сразу понял – и – принял. Все его земные помыслы были только о Наде (о которой он тоже *знал*) – увезти поскорей Надю, спасти Надю... Все иные мысли – в Боге.

А мать? Мать была в нем, он умирал с нею внутри, как с, внутри, собственным сердцем.

Надя, уже не встававшая, на вынос брата смотрела из высокого окна залы, в которой теперь жила. Вчера – на товарища брата, который нравится и опять придет, нынче – на брата, которого любила и который уже никогда не придет. За которым – сама пойдет. Поедет – вот тем же снегом, такими же еловыми веточками, на тех же плечах... Вот в последний раз сверху, так сверху, так назвничь, как никогда еще, по-новому – внятно, по-высокому – далёко, и внятно, и тщетно, и близко, и далёко – как на ладони, отставленной за версту! – как собственное лицо на дне колодца – в последний раз лицо Сережи, от подпирающего лазурного ворота как бы все еще храбрящееся...

Усмешка... Ресницы...

Рядом с кареокой румяной смертницей, обняв подругу за плечо, поддерживая и даже удерживая – светловолосая, с глазами, плачущими точно своим же цветом, с возрожденской головкой, точно впервые ознакомившейся с собственным весом, Вера Муромцева, ищущая слов и никаких не находящая, кроме слез. Внизу, на снегу, черная одинокая фигурка: та самая немочка-экономочка, так боявшаяся взглянуть на Сережу, а когда глядевшая – то с чем-то пущим страха. Достоять обедни ей не дали и на кладбище не пустили – надо прибрать дом к возвращению – и вот торопливо прибирает, только не дом, а двор – от тех самых веток (чтобы не заметил дворник!). В руках целый букет – черных, мохнатых, так похожих на те, в Спасском. Эти ветки она будет хранить до дня своей смерти, для дна своего гроба, на дне своего экономкиного чемодана, когда осыплются иглы, соберет их в мешочек, мешочек завяжет лентой с шоколадной коробки, поднесенной ей иловойской молодежью (значит, и *им*) в прошлый сочельник. Сочельник... Ельник...

Наде, умершей месяц спустя, Бог послал тяжелую смерть. Не надо научных слов для такой вечной вещи, как смерть молодой красавицы. Как бы ни назывались сопутствующие ее болезни явления – муки были ужасные, и ни один врач ее от них не избавил. Умирала она тяже-

лее брата еще и потому, что хотела жить. Не о непостыдной безболезненной кончине живота молила, а о жизни – какой бы то ни было – только жить!

Что может быть жесточе такой Нади, из горячей постели горячей рукой тайком передающей монашке деньги, чтобы молилась о ее здравии по всем монастырям Москвы.

Умерла она в феврале, и выносили ее по тому же снегу. Жестоковыйный старик – в этот день он впервые выглядел стариком, а было ему уже сильно за семьдесят, – на похоронах плакал. Надя в гробу лежала красавица. Спящая красавица с старопименовской живой картины, нынче по-настоящему – спящая, с тем же, тогда чуть-чуть лукавым, ныне – знающим началом улыбки, или того, что нам, на спящих – глядящим, улыбкою кажется. «Я ничего красивее не видал, – рассказывал отец, шагая с нами, Асей и мной, тоже мимо черных елей, только не мокрых – трещащих от зноя, шварцвальдских – не спасских (закрываю глаза, чую запах и слышу, как хвоя трещит... И все они умерли, умерли, умерли...). – С распущенными каштановыми кудрями (умирала тяжело, и не могли расчесать), лицо – розовое, улыбка... – и с интонацией, близкой бы к негодованию, если бы сам, весь, не был сплошное смирение: – Такая красавица... Такая красавица... – И, внезапно, оборвав и фразу и прогулку: – Ну, домой пора. А то мама заждалась». (Мать моя умерла год спустя от той же болезни.)

Тут я должна рассказать одну очень странную вещь. Рассказываю я ее (февраль 1905 год) впервые. Рассказываю я ее потому, что весь тот мир – иловайского Старого Пимена и нашего цветаевского Трехпрудного, молодых красавиц, как Надя, и одиноких, на мой лад, девочек – кончен. Кончен не только *мой* тот век, но *весь* тот век. Рассказываю по неоплатному долгу – сердца.

Когда я в закрытом учебном заведении во Фрейбурге из письма отца узнала о смерти Нади, первое, что я почувствовала, было – конец веревки, вдруг оставшийся у меня в руке. Второе: нагнать. Вернуть по горячему еще следу. Даже (как слезы) загнать – откуда пришло. Сделать, чтобы этого еще не было. опередить – назад. Восстановить ее на прежнем (живом, *моем*) месте и, встав перед ней, не пустить. Первый ответ на удар было: сорваться с места. Но куда? Новодевичье кладбище далёко, да там ее и нет. Где же искать? В Нерви, конечно, где я ее видела в последний раз, на фоне лигурийского залива, под изгибом белой шляпы, выгнувшейся из заворачивающего экипажа. И вот, как по команде, – в Нерви. Обежав шагом колотящегося сердца все виноградом крытые дорожки нашего сада с прямо на голову свисающими лимонами и мандаринами, спустившись на мою соименницу «марину» («Видишь, вот ты и знаменитость! Везде твое имя написано», – смеясь, Надя, мне...), оттуда – в дом, сначала в их комнату, где они вдвоем с Сережей кашляли: кто – кого, потом в столовую, где под Новый год пускали лодочки с желаниями, и все *они* задумали одно, а она – другое, и ничего не сбылось! Потом в монастырский дом, не обнаружив ее нигде, обнаружив, что ее нет – *везде*, я стала в тупик. Где же мне ее искать, чтобы сказать... Что? Да то самое. Устав гадать и отложив на перед-сном, опять перечла письмо отца: «Сообщаю вам грустную весть. Вчера, такого-то февраля, умерла в больших страданиях бедняжка Надя...»

У-мер-ла. Значит, нигде?

И вот начинаются упорные поиски ее – везде.

«Куда ты?» – «Платок забыла в дортуаре». Проглотив лестницу, несусь по гулкому коридору, на поворотах чуть ли не отрываясь от собственного тела, опережающими и все же непоспевающими ногами влетаю... Может – здесь? Разве знает, что всй внизу. Но – ничего, кроме блеска холодного, мною же оттертого умывальника, кроме холодной белизны мною же накрытой постели, в рядах таких же белых и безнадежно-пустых. Как же я не сообразила, что здесь слишком светло? Что здесь можно только *быть*, или *не* быть. Где же, сейчас, темно? Есть тем-

ное место, всегда темное, музыкальная комната, одна во всем этаже, нежилом. Но туда, до Klavierübung¹¹⁴, не пустят. Как прожить эти три часа до шести?

– Klavierüben, Marina. – Намеренно-медленным шагом выхожу, уже не бегу, не бегу, даже когда одна в пустом этаже, с полным самообладанием, аккуратно, во всех подробностях управляюсь с туго поддающейся дверью (дать успеть прийти...). Осторожно, чтобы не спугнуть, просовываю голову, за ней, как ненадежного постороннего, впускаю тело. (Самое для меня теперь дивное, что я не только ее не боялась – *ее* боялась испугать.) Сажусь. Не оглядываюсь. Открываю рояль. Ганон. В полной честности проигрываю все положенные упражнения, событий не тороплю, само придет (сама придет)?.. Но, когда перехожу к «Invitation a la valse» «Приглашение к вальсу» (фр.), сердце не выдерживает и, не обрывая игры, в лад педальному нажиму: «Надя! Надя! Надя!» – сначала мысленно, потом шепотом, потом вполголоса... (Во весь голос не позвала, не назвала никогда.)

– Das Mägdlein schläft – ihr Eltern jammert nicht...¹¹⁵ Какой бог внушил дубовой Frl. Risky задать моему классу именно эти стихи? И не тот же ли бог внушил убогой Frl. Annie задать мне бетховенское «Lied für Elise»... «Песнь для Элизы» (нем.).

Нади я не увидела никогда, как ни зывала, как ни умоляла, как ни подстерегала – на всех коридорных поворотах оборотом головы жирафы на каждый мнящийся шум, шумок; как ни выстаивала – стойкой вкопанной гончей – все на той же полянке нашей ежедневной прогулки, пока другие ловили мяч; как воровски ни вращалась в стену в простенке между платяными шкафами, мимо которых сейчас должна пройти; как ни выглядывала за благоприятствующей завесой ладана в ряду семисотлетних деревянных неразумных и разумных дев и, еще настойчивее, из собственных глаз выскакивая – в многообещающих портьерах Fremdenzimmer...¹¹⁶ С порога Fremdenzimmer, с постели Krankenzimmer¹¹⁷, во всем движущемся, во всем кажущемся – в каждом молчании – в каждом звучании – крадучись – наскоком – самоутверждаясь – развоплощаясь...

Нади я глазами не увидела никогда.

Во сне – да. Все тот же сон: прихожу, она только что была, иду за ней – она уходит, зову – оборачивается с улыбкой, но идет дальше, хочу догнать – не могу.

Но знаки – были. Запах, на прогулке, из цветочного магазина, разом воскрешающий цветочный бой и ее, цветком. Облако с румянцем ее щек. С изгибом ее щеки. Даже жидкий ячменный кофе, пока не налили молока, – с золотом ее глаз. Знаки – были. Любовь всегда найдет. Всё было знак.

Может, в моем повествовании не увидят главного: моей тоски. Тогда скажу, эта любовь была – тоска. Тоска смертная. Тоска по смерти – для встречи. Нестерпимое детское «сейчас!». А раз здесь нельзя – так не здесь. Раз живым нельзя – так. «Умереть, чтобы увидеть Надю» – так это звалось, тверже, чем дважды два, твердо, как «Отче наш», так бы я со сна ответила на вопрос: чего я всего больше хочу. А дальше? Дальше – ничего – всё. Увидеть, глядеть. Глядеть – всегда. И, странно: я, такая беспощадная в своей внешней самооценке, так стыдившаяся своей некрасоты перед ее (и Сережиной – и всякой) красотой, ни секунды не усумнилась: «А что, если Надя, такая красавица, увидев меня, некрасивую, да еще маленькую – не захочет?» Точно я уже тогда знала стих Гёте:

O, lasst mich scheinen, bis ich werde¹¹⁸.

¹¹⁴ Музыкальных упражнений (нем.).

¹¹⁵ Девочка спит, родители, не грустите (нем.).

¹¹⁶ Гостиной (нем.).

¹¹⁷ Комнаты для больных (нем.).

¹¹⁸ Какой кажусь, такой я стану (нем.).

а что *werde, сбдусь* я там по образу своей души, то есть такая же, как Надя, а если даже *нет*, если даже старая оболочка... —

Und diese himmlischen Gestalten
Sie fragen nicht nach Mann und Weib¹¹⁹,

— значит, и на красоту и на некрасоту не смотрят... Точно я уже *тогда* знала то, что так непобедимо, неискоренимо и торжествующе знаю теперь: что там — отыграюсь. И последнее предзнание людей с их чистосердечнейшими поговорками о псе и льве, синице и журавле, погонщике мулов и царе — я знала, что соперников в *этой* любви у меня не будет.

Что главное в любви? Знать и скрыть. Узнать о любимом и скрыть, что любишь. Иногда *скрыть* (стыд) пересиливает *знать* (страсть). Страсть тайны — страсть яви. Так было и со мной. Мне было невыносимо говорить о Наде и невыносимо не знать о ней. Но еще невыносимее называть, чем не знать. Я жила, как робкий нищий, случайными подачками, как потом, выросши, в Революцию, подачками музыки на улице, ночью, под чужими окнами. (Так мне раз из арбатского ночного окна «подали» Рахманинова — сам Рахманинов.) Я жила случайными словами о ней, без моих, наводящих. Больше скажу: как только отец, нашими далекими еловыми походами (а мать все лежала, лежала, лежала, это было ее последнее лето, уже лежащее, уже под елями), как только отец начинал нам что-нибудь о *той* рассказывать, я каким-нибудь косвенным, отводящим, уводящим в подробности болезни и *от* любимой вопросом, с какой-то неправдоподобной, противоестественной для меня хитростью и удачливостью отводила (грозу счастья). Так я, совсем маленькая, молила Бога в сочельник утром, чтобы вечером еще не было елки, которой я так безумно ждала, которой жила. Так я, старше, с первых слов, уверткой или шуткой, пресекала любовное признание, конца которого, случалось, потом уже никогда не слыхала.

Что тянуло эту юную покойницу из тайного далека, с Новодевичьего в Шварцвальд (*издальше!*) ко мне, маленькой девочке, ей так мало знакомой? Ибо теперь вижу, что *моя* любовь была *ее* воля, что *она* ко мне шла, за мной ходила по меховым горам Чернолесья, *она* тихонечко и настойчиво зазывала меня в пену местной Ниагары — маленькой, холодной, глубокой и бурной речки, обрывающейся, как жизнь. *Она* заставляла меня молчать о ней — всем, особенно матери. *Она* глядела на меня из каждого миловидного жарового женского лица с санаторского кресла. Она, пользуясь моей близорукостью, заставила меня влюбиться в одну такую молодую больную, сменой сходства и несходства, очарования и разочарования, грубо говоря: неизбежностью контраста в свою пользу только пуще предав — себе. Влюбленность, которую я при своей тогдашней и всегдашней честности: бесстрашии осознания и названия, ни секунды не ощутила изменой: только подменой — и какой болевой!

Больше скажу: молодая покойница точно передала мне весь свой неизрасходованный румянец, ибо как только кто-нибудь: «Бедная Надя!» — или мать, глядя на свою сотоварку (ту самую!): «Боюсь, что она будет умирать, как Надя», — я, как разогнувшаяся пружина, не вскочив со стула, а выскочив из себя, уже неслась «за книгой» или «за палкой», зная, что через еще-секунду уж не смогу, никакой силой, никакой волей сдержать румянца: пожара! Любовь слепа? Но как люди на нее слепы! Так, даже мать никогда не разгадала моей тайны, — на лбу написанной! — озабоченно говоря мне по возвращении: «Какие у тебя резкие движения! На полуслове... Так ведь испугать можно. Книга... Палка... Ведь не горит!» Нет, горит.

...Почему не Сережу (любила)? Покаянную любовь моего раннего детства? Почему с его смертью примирилась, приняла ее — как все?

¹¹⁹ И нет меж облаков небесных// Ни женских ликов, ни мужских (*нем.*).

А потому что Сережа сам смирился, а Надя – нет.

А потому что Сережа уже не хотел жить, а Надя – да.

А потому что Сережа совсем умер, а Надя – нет. Совсем ушел туда, со всем, что в нем было, а Надя, со всем, что в ней было, в ней *было!* не рассталась, совсем осталась.

И еще потому, быть может, что о Сереже уже *так* горевала мать, а о Наде так, как я (утверждаю это и сейчас), никто – никогда.

Милая Надя, чего тебе от меня было нужно? Стихов? Но они тогда у меня были детские, к тому же – немецкие...

Почему именно за мной ходила, передо мной вставала, – именно мной из всех тех, которые еще так недавно за тобой и вокруг?

Может быть, милая Надя, ты, оттуда сразу увидев все будущее, за мной, маленькой девочкой, ходя – ходила за *своим* поэтом, тем, кто воскрешает тебя ныне, без малого тридцать лет спустя?

* * *

Д.И. Иловайского я в последний раз видела, точней – слышала, накануне открытия музея Александра III, в мае 1912 года, у нас в доме, в неурочно поздний час. Не дожидаясь прислуги, живущей через двор и, наверное, уже спящей, Сережа Эфрон, за которого я только что вышла замуж, открывает. Скрип парадного, какое-то ворчание, из которого выясняются слова: «Значит, дома нет?» И, проходя в залу: «А гардероб – будет?» Молчание, затем покашливание вопрошаемого. Вопрошающий, настойчивее: «Гардероб, говорю, будет? Под расписку, спрашиваю, сдают?» Выглянув из столовой, вижу, как Сережа, с всё еще любезной улыбкой, слегка подается от неуклонно, с бесстрастием Рока надвигающейся на него шубы, в которой (май!) узнаю Д.И. Иловайского. «А то (похлопывая себя по широченному, как у рясы, рукаву) *она* у меня небось бобровая, как бы (с желчной иронией) по случаю торжества-то – не лишиться! Тоже мода пошла, перекинет через ручку и «будьте покойны-с», с одной улыбкой-с, без всякой расписки-с... А кто его знает – слугитель или грабитель переодетый? На лбу ведь не написано, а если и написано – так ложь. Нет, номер нужен, номер!» Спрятавшись за самовар, гляжу дальше. Пауза и, прищурившись: «А вас я что-то не припомню... В прихожей-то было за Андрюшу принял, а теперь вижу – нет: еще выше и худощавее (и, неодобрительно) и годами будто *еще* моложе...» – «Я муж зятя... то есть зять дочери – Марины... Я хотел сказать: Ивана Владимировича. Муж». Иловайский, недоверчиво: «Муж? – и уже бесстрастно: – А-а-а... Так передайте, молодой человек, Ивану Владимировичу, что приходил его тесть от Старого Пимена, про гардероб узнавал».

И, перепутав родного внука с чужим зятем – уже сказанием! Уже привидением! – метя бобровой шубой дубовые половицы, темнеющей залой, за эти несколько минут совсем стемневшей – как снеговое поле, снеговым полем своей волчьей доли, скрипящим парадным, деревянными мостками, лайнувшей калиткой, мимо первых фонарей – последней зари – домой, к своему патрону – Пимену, к патрону всех летописцев – Пимену, к Старому Пимену, что на Малой Димитровке, к Малому Димитрию, к Димитрию Убиенному – в свой бездетный, смертный, мертвый дом.

* * *

Большое тире. Тире длиною в шесть лет: всей войны и начала Революции. Тире, заполненное для Иловайского потерей всего его мира.

1918 год. Весна. Стук в дверь. Редкий гость. Брат Андрей, о котором никогда ничего не знаю, ни жизни, ни окружения, ни горестей, ни радостей, ни даже адреса, ничего, кроме того,

что он нас, полуродных сестер, любит несравненно больше, чем родную, и если кого-нибудь на свете любит – то нас.

«Марина! У тебя еще живет этот жилец – как его?» – «Икс? Живет». – «Так ты уж, пожалуйста, устрой, чтобы выпустили деда». – «Как – выпустили?» – «Ну, да, сидит в Чека уже неделю». – «За что?» – «За убеждения. Пришли и арестовали. Совершенно неприлично». – «А сколько ему сейчас лет?» – «А Бог его... Около ста, должно быть». – «Ну-у?» – «Во всяком случае девяносто». – «Хорошо, я попытаюсь».

Поздно вечером сторожу у тогда еще звонившего телефона своего квартиранта Икса. Топ-топ-топ-топ – по лестнице. Открываю. «Генрих Бернардович!» – «Да?» – «Нечего сказать, хороши ваши большевики, – столетних стариков арестовывают!» – «Каких еще стариков?» – «Моего деда Иловайского». – «Иловайский – ваш дед??» – «Да». – «Историк?» – «Ну да, конечно». – Но я думал, что он давно умер». – «Совершенно нет». – Но сколько же ему лет?» – «Сто». – «Что?» Я, сбавляя: «Девяносто восемь, честное слово, он еще помнит Пушкина». – «Пом-нит Пуш-кина?! – И вдруг, заливаясь судорожным, истерическим смехом: – Но эт-то же – анекдот... Чтобы я... я... историка Иловайского!! Ведь я же по его учебникам учился, единицы получал...» – «Он не виноват. Но вы понимаете, что это неприлично, что смешно как-то – то же самое, что арестовать какого-нибудь бородинского ветерана». – «Да – (быстро и глубоко задумывается) – это-то – действительно... Позвольте, я сейчас позвоню... – Из деликатности отхожу и уже на лестнице слышу имя Дзержинского, единственного друга моего Икса. – Товарищ... недоразумение... Иловайского... да, да, тот самый... представьте себе, еще жив...»

Неделю мой скромный Икс гонял по Иловайскому делу, он – олицетворенные две ноги – на автомобиле! Неделю я ничего не спрашивала, ибо больше, чем верила – знала. И на седьмой день в тот же ночной час – топ-топ-топ-топ – (ровно в четыре скачка брал лестницу) – стук-стук-стук: «Марина Ивановна!» – «Да». – «Могу вас поздравить! Выпустили вашего дедушку. – Сияет, но лицо злое, то же сияние и злоба в голосе. – Но ззнате – не легко далось!» Я, робко: «Спасибо, я не нахожу слов, чтобы...» – «Совсем не надо, я с удовольствием, собственно без всякого удовольствия, я бы вообще не, но... Ему правда, девяносто лет?» Я, чтобы хоть чем-нибудь отблагодарить: «Девяносто восемь». – «А выглядит – шестьдесят. И голос бодрый. Да. Вы говорите – Наполеона помнит?» – «Всё, что угодно! А главное – Пушкина». Икс, на секунду полувзав глаза: «Замечательно!» Я, пользуясь секундой: «А за что его арестовали?» Икс, открывая настешь: «За германскую ориентацию». Я в полном чистосердечии изумления: «Но он же казак, даже станица есть „Иловайская“. – „Я не говорю: за германское происхождение – для нас происхождение не играет роли, мы же (точно кладя мне в рот, один за другим, шесть кусков сахара) Интер-на-ци-о-нал, я говорю: „ориентацию“. Я многозначительно: „А-а-а...“ – „Он очень, очень бодр для своих лет. И даже не для своих“. – „Он еще недавно на велосипеде катался. И в рог трубил“. – „В рог? Скажите! (с любопытством). А зачем, собственно?“ – «Чтобы все слышали. В Роландов рог – ну знаете, исторический. А верхом катался, пока лошадь не отняли». – «Мы», – сияя, заканчивает Икс.

На следующее утро явление Андрея. «Ну, Марина, молодец твой Икс! Выпустил деда». – «Знаю». – «Три недели просидел. Ругается!» – «А ты сказал, через кого?» – «Да что ты!» – «Напрасно, непременно передай, что освободил его из плена еврей Икс», – «Да что ты, матушка, он, если узнает – обратно запросится!»

Обратно не запросился – сам вышагнул. Из мира, где Иловайского сажает Игрек и освобождает Икс – в мир иной, о котором, думаю, за всю свою жизнь мало думал, целиком и отродясь отдавшись миру не менее потустороннему: былому.

Иловайский умер в 1919 году, 91 году от роду, как – не знаю и навряд ли узнаю, ибо единственный, кто мог бы мне сказать: его единственный внук и мой единственный брат Андрей в апреле 1933 года сам сошел в могилу, от того же старопименовского наследственного недуга, на

четырнадцать всего лет пережив своего древнего деда. Единственная же внучка его, полуродная сестра моя Валерия, настоящая наследница старопименовских страстей и его главной: непростительности, до сих пор еще не может простить моей матери (f# 1906 году) замещения в доме *ее* матери (f# 1890 году) и, ненавидя ее в наших, с Асей, голосах, лицах, жестах и даже *буквах*! Ненавидя так, как можно ненавидеть *единственно*-ненавистное, *дважды* воскресшее, именно: *ненавидя*: не могучи *видеть*, а видя – *наглядеться* – эта сестра Валерия мне, естественно, ничего не захочет сказать. Могла бы привести библейскую по ненависти сцену, тут же над ямой, этой сестры Валерии моей кротчайшей сестре Асе, на руках которой и умер Андрей, но это уже относится к нашей семейной хронике.

И, чтобы кончить о Д.И. Знаю только, что умер он у Старого Пимена и что работал до последнего дня. Да и не знала бы – знала бы.

Есть у меня на память о нем, с собой, его книга о моей соименнице, а отчасти и соплеменнице Марине, в честь которой меня и назвала мать.

* * *

Которая зима? Все они сливаются в одну, бессрочную. Во всяком случае, зима «прыгунчиков», непомерно высоких существ в белых саванах, из-за белого сугроба нападающих на одинокие шубы, а иногда и, под шубой, пиджачную пару, после чего – уже запоздалый ходок – в белом, а непомерно высокое существо, внезапно убавившись в росте – в шубе. Так вот, этой зимой прыгунчиков захожу с ныне покойной Т.Ф. Скрябиной к одним ее музыкальным друзьям и попадаю прямо на слова: «Необыкновенный старик! Твердокаменный! Во-первых, как только он сел, одна наша следовательница ему прямо чуть ли не на голову со шкафа – пять томов судебного уложения. И когда я ей: „Ида Григорьевна, вы все-таки поосторожнее, ведь так убить можно!“ – он – мне: „Не беспокойтесь, сударыня, смерти я не боюсь, а книг уж и подавно – я их за свою жизнь побольше написал“. Начинается допрос. Товарищ Н сразу быка за рога: „Каковы ваши политические убеждения?“ Подсудимый, в растяжку: „Мои по-ли-ти-че-ски-е у-беж-де-ни-я?“ Ну, Н думает, старик совсем из ума выжил, надо ему попроще: „Как вы относитесь к Ленину и Троцкому?“ Подсудимый молчит, мы уже думаем, опять не понял, или, может быть, глухой? И вдруг, с совершенным равнодушием: „К Ле-ни-ну и Троц-ко-му? Не слышал“. Тут уж Н из себя вышел: „Как не слышали? Когда весь мир только и слышит! Да кто вы, наконец, черт вас возьми, монархист, кадет, октябрист?“ А тот, наставительно: „А мои труды читали? Был монархист, есть монархист. Вам сколько, милостивый государь, лет? Тридцать первый небось? Ну, а мне девяносто первый. На десятом десятке, сударь мой, не меняются“. Тут мы все рассмеялись. Молодец старик! С достоинством!»

– Историк Иловайский?

– Он самый. Как вы могли догадаться?

– А как вы думаете, он про них действительно не слышал?

– Какое не слышал? Конечно, слышал. Может быть, другие поверили, я – нет. Такой у него огонь в глазах загорелся, когда он это произносил. Совершенно синий!

Рассказчица (бывшая следовательница Чека), сраженная бесстрашием деда и многих других подсудимых, менее древних, следовательница эта, постепенно осознавшая, что и белые – люди, вскоре оказалась уже служащей кустарного музея, отдел игрушек. Мужа убили белые. Был у нее большеголовый, бритый, четырехлетний голодный сын...

* * *

Остается конец А.А. Он страшен. Потеряв всех (последняя дочь была за границей), А.А. осталась одна, втиснутая со всеми своими мебелью и сундуками в одну комнату – ту, полу-

подвальную, со сводами, бывшую Надину, окнами в сад. Вокруг был новый мир, от первого тесного круга вселённых жильцов – до кругозора новых идей – до огромного, в сплошных заревах, окоема Революции. Как же она с ним справлялась? Во-первых, она с ним сражалась. Осталась, но отстаивала. Что? Свое добро. И отстояла. Чтобы в полный разгар Революции, нося такое имя, в таком суде, выиграть не один, а целых два процесса с таким «арендатором» (так она это, для приличия, называла), для этого нужно было быть *ею*, то есть, по слову близкого ей лица, фанатиком собственности.

Попытаемся восстановить ее день, все тот же день одиннадцати революционных зим.

Вставанье в холоде. (Ничего, полезно, всю жизнь проспала с открытой форткой.) Чай без сахара (тяжело). Черный хлеб (именно *тяжело*). Очередь за мылом. (Ничего, выстою. Отстою свое, а уж *свое* – отстою!) И вот, при полном шутилом одобрении всей очереди («Ну и сурьёзная гражданка! сквозь такую не протиснешься!») победоносное изгнание «нахала» и свой кусок немылящего мыла – в руках. Домой, есть. Ест мало – приучена. (Вот только – овса нет! Точно они с Д.И. только для того и соединили свои жизни, чтобы вместе есть овес. Есть в этой ассоциации что-то умилительно-конское...) После еды – рытье в сундуках. Вижу ее на коленях, подперев все еще заносчивой головкой все еще маркизы кованую крышку сундука. Голова – болит. Ничего, своя ноша не тянет! Скаты сукна, полотна, шевиота, тисненого муара, атласа... С чем расстанусь? От чего оторвусь? И подумать, что все это будут носить хамы. Хамки. Хамки ради на коленях стою...

Смоленский рынок. Пожилая дама, в шубе с буфами, в высоких остроносых башмаках. Из-под белого кавказского (Сережиного еще) башлыка – черные глаза без всякой милости. Не предлагает, не протягивает, перевесив через отставленную руку – являет. Безмолвно. Но товар сам за себя говорит. «Сколько?» – «Столько». – «Да что ты, тетка... (под пронзительным взглядом) – да что вы, гражданка... (и, не вынося глаз) – да помилуйте, мадам, рази... Совсем гражданина обездолить хотите... Хотите?» (Цифра.) – «Нет», – точно лед треснул. О, эта ли уступит копейку с аршина – *этим*, когда и собственным своим молодым страстям, и родным детям не уступила. Никогда – никому – ни в чем. И вот, под двойным давлением недобрых глаз и добротности товара, гражданин ей в ладонь бумажки, себе под мышку – аршины. Стоят пересчитывают, каждый – свое, в беззастенчивости своей являя собой картину полного равенства.

Домой, в нору, с горстью рафинада в бумажке, с белым хлебом, но не под мышкой, а на дне английского, свиной кожи, чемоданчика.

Письмо за письмом от дочери. Настоячиво зовет за границу. Но – как расстаться с вещами? С собой взять? Всего не возьмешь. Продать? От одной мысли мороз. Как же без всего, одной, без арьергарда сундуков, корзин, мешков, узлов? Изредка посылки нуждающейся дочери: когда несколько английских фунтов от удачной продажи на Смоленском, когда шелковое платье *gris-perle*¹²⁰, из только одного шлейфа которого та в Сербии шьет себе целое платье.

Кто-то в 1927 году о ней из Москвы пишет дочери:

«Обстановка у мамы ужасная – одна комната, сплошь заставленная вещами, и день и ночь горит в ней свет...»

Днем – от куста, то снеговым, то лиственным грузом застилающего свет.

Ночью – от дум.

Так – до 1929 года.

¹²⁰ Жемчужно-серое (*фр.*).

* * *

Январь и ночь. А.А. собирается спать. Свет горит – тот самый, что и днем: верхний, белый, ровный. За окном – мерзлый сад. Под самым окном – во весь его дубовый ставень – замороженный сиреневый куст, как сторожевой пост.

Снимает с себя верхнюю в клетку, юбку, нижнюю, с крючком, юбку, на двенадцати пуговицах лифчик (четвертая на одной нитке – закрепить!), распускает вздержки, аккуратно складывает вещи в стопку. В одной рубашке, пробравшись между сундучной толкучкой, подымает покату, горбом, крышку, обнажает мраморную доску, подставляет под струйку губку. Надевает ночную кофту, продевает в иголку нитку. Вынув шпильки, обрабатывает щеткой до блеску. Вплетает косоплетку. Встав на циновку, молится на лампадку: «Хлеб наш насущный» и за упокой душ.

Стук. В ставню – куст, мерзлой веткой, как мерзлым пальцем. Точно вправду пальцем: вторым его согнутым, суставом. Раз – второй. А что, если будет?.. – Третий. И вот, крадучись, удаляется. А.А., хладнокровно: «Нервы». Но все же, для достоверности, пробравшись между острыми углами сундуков, привстав коленом на так и не убранные стопы «Кремля», приникает лбом к раме. Ничего. Глухая стена ставня. Оттолкновение мерзлого стекла.

Да и чего бояться в таком доме? Со столькими жильцами? Сколько жильцов – столько револьверов. За такими ставнями? С таким дворником? Да и кому пугать по ночам, зачем? (В ту минуту А.А. забыла, что стучать можно не только, чтобы испугать, а и чтобы остеречь. И если бы она, как ей в самую смутную секунду было захотелось, сейчас – вышла, она бы, может быть, увидела не страшное, а родное – и в черноте ночи светло-черноглазое! – не по земле, а над землею отходящее от окна. А если бы и никого, ничего не увидела, кроме припавшего куста сирени, – то предостерегающий может, за отсутствием иных возможностей, постучать и веткой...)

Собравшись с духом, входит в ледяную постель.

Закрывает глаза, *не* свет. Свет горит, тот же, что и днем, так же, как и днем: ровно, неживо. Под закрытыми веками – лицо того солдата с рынка, которому вчера продала парчу. (Ту, от Надиного боярского, так и не сбывшегося, костюма.) Молодое лицо, безбородое. Через лоб «большевицкий» вихор. А жаль, что только по столько-то аршин, хороша парча, дал бы больше...

А – сын? Забыла? Нет. (Нынче, разгребая сад, задела лопатой куст: зазвенел, как венок. В годовщину не забыть убрать фарфоровый: и цветы обились, одна проволока...) Но туда, на самое *дно*, где он, и только он один, не спускается никогда. Иначе – не жить. А жить – надо. Зачем? А сундуки? Кому же все пойдет: неношеное, нетронутое, некроеное, десятилетия подряд храненное и дохраненное до нынешнего дня. Дочь – далёко... Этим? Все – тем?! Нет, жить надо, всё прожить, чтобы не осталось, не досталось. Ничего. Никому.

Спит.

Беда пришла не из окна. Беда пришла из двери. Стук. А.А. спит. Вторичный, спешный. «Кто там?» – «Иван, дворник. Александра Александровна, дело до вас есть». – «Какое дело? Завтра!» – «Нет, дело неотложное, вы уж, пожалуйста, простите, что беспокою, долго не буду». – «Погоди входить, открою и сейчас лягу».

...Входит. Стоит молча. Глаза не те. А.А., властно и нервно: «Ну? – Упавшим голосом: – Да ну же?» Тот, в дверь: «Входи, ребята».

* * *

Старый дом точно только того и ждал.

* * *

Пришли шайкой. Пришли за миллионами, а нашли всего только шестьдесят четыре рубля с копейками. «Добра» не тронули – тряпки. Бежали на Кавказ, были прослежены, схвачены, судимы, иные – расстреляны.

Дом у Старого Пимена кончился в двойной крови.

* * *

И кончаю словами одноименных воспоминаний Веры Муромцевой, именем которой свои и начинаю:

– Ныне в приходской церкви Старого Пимена комсомольский клуб.

1933

Башня в плюще

Недавно, раскрыв одну из рильковских «Элегий», читаю: «Посвящается княгине Турн-унд-Таксис». Турн-унд-Таксис? Что-то знакомое! Только то было: Тур. Ах, знаю: башня в плюще!

* * *

– Russenkinder, ihr habt Besuch! («Маленькие русские, к вам пришли!») Это истопница Мария влетела в пустой класс, где мы, сестра Ася и я, единственные оставшиеся в пансионе пансионерки, равнодушно перевертываем листы наших хрестоматий в ожидании завтрашней, ничего не обещающей, Пасхи.

– Господин, – продолжает Мария.

– Какой?

– Как все. Настоящий господин.

– Молодой или старый?

– Я же вам говорю: как все. Не молодой и не старый, как надо. Идите скорей, только, фрейлейн Ассиа, уберите волосы со лба, а то у вас глаз не видно, как у крысоловки.

«Зеленая комната», заветная, начальница, она же приемная. Навстречу нам, с зеленого кресла – знакомый, неузнаваемый, всегда беспиджачный, а сейчас даже в крутом воротнике, всегда с пивным подносом в руках, а сейчас со шляпой и тростью, такой дикий в соседстве с начальницей, на фоне этих зеленых занавесей – хозяин «Ангела», Engelswirth, владелец нашей чудной деревенской гостиницы, отец наших летних друзей Карла и Марилэ.

– Господин Майер так любезен, что приглашает вас завтра к себе, в свою семью, на целый день. Он заедет за вами в шесть часов тридцать минут утра и доставит вас сюда в тот же час вечера. Если будет благоприятствовать погода. Разрешение мною уже дано. Благодарите господина Майера.

Остолбев от счастья и от священности места, робко, – я, почему-то, басом, а Ася писком, – благодарим. Молчание. Герр Майер, не менее нас подавленный священностью места, а может быть, и сдавленный несвойственным воротником, глядит себе на ноги, действительно неузнаваемые в новых башмаках. Мне почему-то кажется, что ему страшно хочется нам подмигнуть. Никто не садится. Выходя, Ася все-таки догадывается и осмеливается осведомиться: вырос ли Карл и куда теперь отцу.

* * *

Пустой дортуар. Мария только что привернула лампу. Завтра! Под веками – сначала круто восходящее шоссе, потом, с которого-то поворота, более знаемый, чем видимый, вросший в свою двойную ивовую оправу, любимый, холодный, ундинин полупоток, полуручей Борербрах, в который нам, из-за ледяной его воды, всегда запрещали входить и в котором мы, однажды, целиком, в платье... А дальше – распятие на повороте, а дальше с шоссе влево, а дальше – уже совсем близко! – из-за сливовой и яблонной зелени, сначала гастхауз¹²¹, а потом и сам Ангел, толстый, с крыльями, говорят – очень старый, но по виду совсем молодой, куда моложе нас! – совсем трехлетний, круглый любимый ангел над входом в дом, из которого нам

¹²¹ Гостиница (нем.).

навстречу фрау Виртин, а главное – Марилэ и Карл, главное, для меня, – Марилэ, для Аси – Карл.

– Завтра! – В шесть часов тридцать минут. – Если будет хорошая погода.

* * *

Первый взгляд – в окно. Собственно, два первых взгляда – в окно и на часы. Застегиваю на Асе шесть наспинных пуговиц ее лифчика. Но как же с платьями? В будничном нельзя – Пасха, а в праздничном – ни на дерево, ни под дерево.

– Я, как приеду, переодеюсь в старое Марилино.

– А я? (Ася, обиженно.) Мне Марилино будет до полу!

– А ты – в Карловы панталоны! (И, видя, что она уже плачет:) А ты в Марилину кофточку, она тебе как раз будет до колен. А рукава завернем!

Звонок к завтраку – для нас одних. Начальницы спят. Завтракаем одни с Марией. Завтрак, как всегда, овсяный кофе без сахара (который весь пансион целиком, «добровольно» и раз навсегда, кажется, в день своего основания, уступил «бедным детям») и хлеб без масла, но зато с каким-то красным тошным растительным клеем, который ест без отвращения и, когда удаётся, за всех, то есть слизывает у всех, только вечно голодная, несчастная, всеядная, на редкость прожорливая бразилианка Анита Яутц.

– Ах, фрейлейн Ассиа, вы опять заклеили всю клеенку! Давайте я за вас доем, а то только четверть часа осталось.

* * *

Половина седьмого. Без четверти семь. Семь. Погода не чудная, погода, собственно, средняя, все небо в тучах, но, во всяком случае, дождя нет. Еще нет. Половина восьмого. Он, конечно, задержался на рынке и сейчас, сейчас будет. И не может же герр Майер, мужчина, эти несколько капель считать за дождь! Капли учащаются, сначала струи, потом потоки. В восемь часов явление младшей начальницы, фрейлейн Энни.

– Дети, через полчаса будьте готовы в церковь. Герр Майер теперь, конечно, уже не приедет.

В восемь часов пятнадцать минут звонок к мытью калош. Звонят для нас одних.

* * *

О чем говорит проповедник? Ася, самая младшая из всего пансиона и всегда засыпающая от проповеди, нынче в первый раз не спит. Не спит, а тихо и крупно плачет. Но хуже, чем «не приехал», другая мысль: «А вдруг приехал? И, не застав, уехал? Нынче ведь пасхальное воскресенье, весь город подымется в „Ангела“, герр Майер ведь с провизией, он не может ждать».

На обратном пути фрейлейн Энни мне:

– Почему же ты ничего не говоришь, Руссенкинд? Ассиа хоть плачет. Разве тебе не хотелось к твоим друзьям, на высоту?

– Ах, я всегда знаю, я заранее знала. Это было бы слишком прекрасно!

И внезапно, вместо слез, раздражаюсь знаменитым двустушием:

Behüt Dich Gott, es wär zu schön gewesen!
Behüt Dich Gott, es hat nicht sollen sein!

(«Храни тебя Бог, это было бы слишком прекрасно! Храни тебя Бог, этому не суждено было быть!»)

- Я радуюсь твоему поэтолюбию, Марина, но знать Шеффеля тебе все-таки еще рано.
- Я не читала, это мама всегда поет!

* * *

После обычного воскресного завтрака: «красного зверя», как мы его, не зная, называем, и ревенного компота, – моем, по отдельному звонку (звонят для нас одних), в пустом дортуаре руки. А небо, проплакавшись, чудное!

Запыхавшаяся Мария:

- Руссенкиндер, фрейлейн велят вам поскорее одеваться во все лучшее.
- Мы и так в лучшем.
- А кружевных воротников у вас нет?
- Нет.

Мария сияет:

- У меня есть. И я вам их одолжу, потому что... мне тоже здесь плохо!

Бежит и возвращается с двумя: огромной гипюровой пелериной с вавилонами, спускающимися ниже пояса, – ни дать ни взять гигантская морская звезда, в середину которой про-сунули бы голову, – с гипюровой звездой для меня, с самовязанной для Аси. Мне моя – до живота, Асина ей – до колен.

- Теперь вы красивые, как ангелочки!

(Ах, Ангел, Ангел!)

...Гулять. Гулять одним с фрейлейн Энни – на тот же Шлоссберг, – да еще в воскресных платьях, – в которых никуда и ничего... На *только* нас двух – целая фрейлейн Энни...

Облачаясь, я – во всеместно меня выталкивающий, Ася – в излишне просторный, как-то отдельно от нее живущий, – жакеты, шагом нерадующихся детей и теней спускаемся.

Экипаж, даже ландо. Ландо, во всей глубине слова и во всем блеске явления. Глубокое лакированное ландо, запряженное двумя шоколадными, такими же лоснящимися, лошадьми. В глубине обе фрейлейн, в чем-то черном, стеклярусном, непроницаемом, торжественно-погребальном, в черных шляпах с лиловыми букетами и с букетами ландышей в руках.

- Садитесь же, дети!..

Робко ставим ногу на подножку.

– Садись, ты, Марина, как старшая, против меня, а ты, Ассиа, как младшая, против фрейлейн Энни.

(Что лучше: рачьи, лягушачьи, огромные, немигающие глаза фрейлейн Паулы или болонкины, из-под болонкиных же кудельков, непрерывно мигающие красновато-голубые фрейлейн Энни?)

Ландо, в полном молчании, отплывает.

* * *

Сначала старые дома, потом счастливые дома, глядящие в поля. Счастливые поля... Потом еловые холмы, встающие вдаль, идущие вблизи... Шварцвальдские холмы...

Куда? А вдруг (безумная мечта), а вдруг – туда, в «Ангел»? Но дорога не та, та вверх, эта ровная. И ворота не те, те с Георгием, эти – с Мартином... Но если не туда, – куда? Может быть, никуда? Просто прогулка?

- Как же вы не спросите, Руссенкиндер, куда мы едем и откуда эти лошади?

– Взрослых спрашивать нельзя (Ася).

– Лучше, наверное, не знать (я).

– Похвальная воспитанность (Асе). Опасная мечтательность (мне). Мы едем... – И вдруг в мое ухо ударяет созвучие: Тур-унд-Таксис. И молниеносное видение башни в плюще. Ныне, впервые, над этим задумавшись, понимаю: Thurn, принятая мою за Turm¹²², – давало французскую tour (башню), а Taxis, по созвучию с растительным Taxus, точного значения которого я тогда не знала (тисовое дерево, тис), давало плющ. Тур-унд-Таксис. Башня в плюще.

* * *

Башни не оказалось никакой. Оказался белый дом с террасой и с темными, как всегда днем, ночными глубокими глазами окон, так похожими на те, которыми глядит на нас, вся каштановая, вся каряя, такая же кареокая, как сопутствующая ей собака, и с такими же каштановыми насечками, – поднявшаяся с террасы и коричневым облаком на нас спустившаяся молодая женщина, не похожая ни на одну.

– Я вам сердечно благодарна, что захватили с собой детей. Одни в пансионе, на Пасху? Бедные существа! Как их зовут? Марина? Азия? Какие красивые имена, совсем по-итальянски. Вы говорите, Руссенкиндер. Но старшая, для ее лет, еще и Ризенкинд! (Великанское дитя.)

У этой женщины чудесный, за сердце берущий, певучий голос, тоже такой же каштановый. («Вчера я слушала виолончель, она звучала совсем как твои карие глаза». Так старая мать Гёте пишет молодой Беттине.)

– Ты рада, Азия, что приехала сюда?

– Да, либе фрау. (Милая дама, означающее еще и Богородица.)

– Нельзя говорить «либе фрау», нужно говорить «фрау фюрстин» (княгиня), – замечает фрейлейн Паула.

– Ради Бога! Разве можно детей, да еще такого ребенка, переучивать! (И, спохватившись:) Конечно, милые Азия и Марина, вы во всем всегда должны слушаться фрейлейн Паула, но сегодня мы все вместе, – и Марина, и Азия, и я...

– И Тирас, – вставляет Ася.

– Само собой разумеется, и Тирас, будем просить ее о снисхождении ко всем нашим маленьким вольностям и погрешностям, потому что мы с Тирасом ведь тоже и не меньше вашего, дети, ошибаемся. Не правда ли, Тирас?

Тирас. Шоколадный, но не красный, не лохматый, если и сеттер, не ирландский. Глаза, при ближайшем рассмотрении, зеленоватые, но взгляд – хозяйкин. Смущенные новизной места и сосредоточенностью на нас старших, пока что еще робко, как бы равнодушно, пса поглаживаем, зная, что в свой час, когда взрослые заговорятся, навестаем.

Чай неопишем. Для того чтобы живописать его, нужно было бы живописать весь предшествующий шестимесячный пансионский голод и, что для детей, может быть, хуже голода, всю неопишемую скуку того спартанского меню: мучной суп, чечевица, ревень; гороховый суп, картошка, ревень. Ревень, ревень, без смены. Очевидно, потому что рос в саду, а варился без сахара. Ну и лют же должен был быть голод и жестока скука, чтобы две вовсе не прожорливые и менее всего кровожадные девочки часами мечтали, как они когда-нибудь руками изловят и на лампе изжарят нежных, волшебных, голубопятнистых, скользящих в садовом ручье «Энниных» форелей, которые, со слов фрейлейн Энни, еще вдобавок понимают музыку.

Оставим неопишимый чай, который, кстати, оказался чистокровным, в неограниченном количестве, шоколадом, с таким же и в таком же неограниченном количестве не предложен-

¹²² Башню (нем.).

ным, а на тарелки положенным зандкухеном¹²³. Скажем только, что желудки были так же счастливы, как глаза, как уши, а уши, как души.

Впрочем, уши что-то начинают смущаться. Некоторых вещей не знаю, некоторых не узнаю. Мой отец, по словам фрейлейн Паула, знаменитый архитектор, который строит уже второй в Москве музей (первый, очевидно, Румянцевский!), наша мать – знаменитая пианистка (никогда не выступала публично), я – необычайно одарена, «geistreich» (а арифметика? а рукоделие?), Ася необычайно «liebreich» (любвеобильна). Я настолько «geistreich» и «frühreif» (раннего развития), что уже печатаюсь в русских детских журналах (*получаю* «Друг детей» и «Родник»), а Ася настолько любвеобильна, что после каждой еды приходит к ней, фрейлейн Паула, «делать кошечку», то есть ластиться. (Салфеток ученицам не полагается, и Ася, еще не умеющая обходиться без, совершенно сознательно после каждой трапезы вытирает рот, щеки и руки, то есть горох, сало и ревень, о верх все того же черного платья невинной, умиленной фрейлейн Паула. И все это знают, кроме ласкаемой. И все, с наслаждением мести, ждут.)

– Все им могу простить... если бы они что-нибудь сделали!.. За голос, которым они, завидев на улице собаку, говорят: «Ein Hu – und!»

В это время мы, и гейстрейх, и либрейх, уже лежим с собакой на полу и предаемся упоенному и деловитому нацеловыванию ее, Ася в одну щеку, я в другую, каждая в свой собачий профиль.

– Лучше не целовать в морду, – как-то неубежденно замечает хозяйка, – говорят, что у них...

– У них ничего нет! – горячо возражаю я. – Мы всю жизнь целуем!

– Всю жизнь? – переспрашивает Тур-унд-Таксис. – Всю вашу долгую, долгую жизнь? Значит, у них, действительно, ничего нет.

И опять в ушах ровная пряжа Паулиного нахваливания: отец – то-то... Мать – то-то... Младшая без слез не может видеть букашки... (Ложь!) Старшая знает наизусть всю французскую поэзию... Пусть фрау фюрстин сама проверит...

– Скажи мне, кинд, свое любимое, из всех любимое стихотворение!

И вот уже мои уши физически привстают от звука моего собственного голоса, уже плывущего по волнам великолепной оды Гюго «Наполеон II».

– Скажи мне, Марина, какое твое самое большое желание?

– Увидеть Наполеона.

– Ну, а еще?

– Чтобы мы, чтобы русские разбили японцев. Всю Японию!

– Ну, а третьего, не такого исторического, у тебя нет?

– Есть. – Какое же?

– Книжка, «Heidi».

– Что это за книжка?

– Как девочка опять вернулась в горы. Ее отвезли служить, а она не могла. Опять к себе, «auf die Alm» (альпийское пастбище). У них были козы. У них, значит, у нее и у дедушки. Они жили совсем одни. К ним никто не приходил. Эту книгу написала Иоганна Спири. Писательница.

– А ты, Азия? Каковы твои желания?

Ася, скоропалительно:

– Выйти замуж за Эдисона. Это первое. Потом, чтобы у меня был «ascenseur»¹²⁴, только не в доме, без дома, в саду...

– Ну, а третье?

¹²³ Песочным пирожным (нем.).

¹²⁴ Лифт (фр.).

– Третьего я вам не могу сказать. (Взгляд на фрейлейн Паула.) Совсем не могу сказать!

– Дитя, дитя, не стесняйся! Ты же ничего плохого не можешь пожелать?

– Это не плохое, это... неудобное, неприличное. (Испуганное лицо фрейлейн Паула.)

Оно начинается на W. Нет, не то, что вы думаете! – И вдруг, привстав на цыпочки и обняв за шею испуганную и улыбающуюся фрау фюрстин, – громким шепотом: – Weg! (Вон!) Вон из пансиона!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.